

С.Н.Сергеев-Ценский
Севастопольская страда
эпилог
Глава первая

I

Знаменательный день 27 августа (8 сентября) был в одинаковой степени днем удачи главнокомандующих двух враждебных армий, генералов Пелисье и Горчакова. Одному удалось, наконец, после года усилий французских и английских правительств и войск довести другого до твердой решимости очистить Севастополь; другому удалось совершенно беспрепятственно вывести из крепости сорокатысячный гарнизон, а самый город превратить, по примеру Москвы двенадцатого года, в пылающие руины.

В одинаковой степени и тому и другому из главнокомандующих казалось после этого, что война пришла уже к естественному своему концу.

Пелисье говорил убежденно:

— Дальше в Крым нам двигаться незачем... Что нам завоевывать там? Безводные степи?

Горчаков говорил успокоенно:

— Теперь мы занимаем позиции очень прочные... Главное же, что мы не прикованы к одной географической точке, очень к тому же неудобной для защиты с суши.

И желая немедленно осуществить эту свободу действий, перенес главную квартиру свою с Инкерманских высот в Бахчисарай.

Им обоим было виднее то, что произошло перед их глазами, но совсем иначе представился день падения черноморской твердыни из европейских столиц: Парижа, Лондона, Вены, Константинополя, Берлина, Стокгольма, из Петербурга и Москвы, наконец.

В Севастополе старом и в Севастополе новом — на Северной стороне — установилось спокойствие, и если велась еще ленивая пальба через бухту, то исключительно для проформы, для видимости продолжения военных действий. А в столицах Европы, чуть только докатилась до

них весть о взятии Малахова кургана, начался ажиотаж — там давно ожидаемое произвело впечатление внезапного взрыва: одних чрезвычайно окрылило, других очень встревожило, третьих опечалило, но перед всеми одинаково открыло разом новые горизонты.

Это был действительно переломный момент большой силы, заставивший встряхнуться и оглядеться кругом даже и неполитиков.

В Стокгольме начали громко кричать о том, что Швеции необходимо теперь же пристать к коалиции Франция — Англия — Турция — Пьемонт, чтобы не упускать случая захватить острова, а может быть, прирезать и Финляндию по реку Кюмень.

В Константинополе теперь ясно стало, что корпус Омера-паши должен быть отправлен морем на юг Кавказа, так как ему совершенно нечего делать теперь в Крыму, где, впрочем, он ничего не делал и раньше за все время войны, только усиленно вымирал от холеры, тифа, дизентерии и других эпидемий.

В Берлине военная партия, возглавляемая братом больного прусского короля, Вильгельмом, будущим победителем Наполеона III и объединителем Германии, еще выше подняла голос против остатков политической опеки со стороны России.

В Вене очень обеспокоились, как бы Франция, утомленная и истощенная продолжительной и кровавой войной, не вступила в мирные переговоры с Россией помимо нее, истратившей на одну оккупацию Молдавии и Валахии свыше миллиарда франков.

А в Париже действительно начинали уже очень и очень тяготиться войной в Крыму. Она обернулась совсем не таким легким делом, каким представлялась год назад маршалу Сент-Арно. Написав тогда в Париж: «Через десять дней ключи от Севастополя будут в руках императора. Теперь империя утверждена, и здесь ее крестины...» — этот краснбай предусмотрительно умер, и прах его покоился в Доме инвалидов в соседстве с прахом Тюрення и Наполеона I, а «крестины империи» прежде всего чрезвычайно затянулись, а затем стоили так много, что трещали финансы Франции и полубанкротом оказалась ее военная промышленность.

Но в то же время успех оставался успехом и настойчиво призывал

многие горячие головы около Наполеона III к новым успехам, которые мерещились им издалека. Поэтому император Франции опять вернулся было к своему прежнему проекту перенесения войны внутрь Крыма, а плешивенький братец его, герцог Мори, окрыленно пустился в новые биржевые авантюры.

Ликования Лондона по случаю побед в Крыму были гораздо менее шумны, чем ликования Парижа, так как телеграмма главнокомандующего Симпсона говорила о поражении, не о победе английских войск при штурме Большого редана. Но чем больнее ударило это по национальному самолюбию англичан, тем сильнее всюду — и в сен-джемском дворце, и в печати, и в обществе — раздавались голоса за продолжение войны с Россией, за разрушение Николаева с его судостроительной верфью, за превращение в руины цветущего коммерческого порта Одессы, за активные действия против Кронштадта и Петербурга, за более строгое проведение блокады всех русских портов...

А между тем ни одно из западных государств так не страдало от блокады русских портов, как сама Англия, являвшаяся самым крупным покупщиком русского хлеба и прочих сельскохозяйственных продуктов, а кроме того, и парусины, не имеющей себе равной по добротности, так что блокада России являлась в то же время и самоблокадой Англии. Ей приходилось покупать русское сырье из третьих рук, у прусских купцов, платя им полуторные цены. Пруссия же наживалась на Крымской войне и непосредственно, продавая России порох и другие боеприпасы.

Но проявлять воинственный пыл диктовала Англии печальная необходимость: застрельщица войны, она очутилась непосредственно после падения Севастополя в положении проигравшей войну, так как все успехи в этой войне выпали на долю русских и французов, на долю же английской армии пришлось только одни неудачи. Точно так же и хваленая английская промышленность не в состоянии оказалась справиться с теми громадными заказами, которые предъявила к ней первая в новейшей истории Европы продолжительная позиционная война.

Эгоистично выбрал лорд Раглан для стоянки английского флота

Балаклавскую бухту, а для основной стоянки сухопутных войск Балаклаву, предоставив французам, своим союзникам, устраиваться как и где им удобнее, только не в Балаклаве. Но от Балаклавы до английских позиций было двенадцать километров, и это небольшое как будто расстояние оказалось совершенно непреодолимым для англичан со всею их техникой: склады их в Балаклаве ломались от всего необходимого фронту, но фронт во всем испытывал голод, и целых семь месяцев английское военное ведомство строило узкоколейку, да так и не достроило, — пришлось передать это дело подрядчику, который закончил его уже перед концом осады.

Обозов в английской армии совсем не водилось, почему ни к каким маневренным действиям она не была способна. Она была способна только к тому, чтобы усесться плотно невдали от морского берега, чтобы ни в коем случае не терять из виду свою эскадру, и начать пальбу из орудий и штуцеров. Это именно она и делала под Севастополем, но весь ход войны, о котором оповещали Европу корреспонденты английских же газет, не имевших над собою цензоров в силу свободы слова, убеждал и убедил общественность Европы и Америки, что Англия без помощи Франции не могла бы и заикнуться о войне с Россией.

Но заканчивать войну неудачной атакой и неудачным штурмом Большого редана неудобно, неслыханно, постыдно, — значит, надо продолжать ее вплоть до громкой победы английского оружия — такой, например, как веллингтонова победа при Ватерлоо.

И первое, что сделало английское военное министерство после падения Севастополя, — послало приказ главнокомандующему Симпсону принять меры к обзаведению обозом, необходимым для наступления внутрь Крыма; флоту же, отправившему в Крым с начала войны уже несколько миллионов пудов артиллерийского и инженерного груза, приказано было готовиться к новым рейсам туда же: английское правительство не скупилось на сильные жесты, чтобы показать континентальной Европе, что Англия только еще входит во вкус войны с северным медведем, только еще разворачивает свои необъятные ресурсы, только еще «точит сабли»...

II

Москва ахнула единой грудью, как только узнала об оставлении Севастополя. Ермолов как сидел в кресле, так и остался сидеть на несколько часов подряд: не мог подняться, отнялись ноги. Рычал, как старый лев, в бессилии, качал ошеломленной головой, вытирал слезы красным фуляром...

Славянофил Кошелев Александр Иванович, бывший 30 августа именинником, созвал к себе на обед многочисленных гостей. И гости уселись за длинный стол, и уже подано было первое блюдо, как новый запоздавший гость, крупный чиновник московского почтамта, войдя, сказал громко:

— Знаете ли, какая ужасная новость, господа? Ведь Севастополь-то оставлен нами и горит! Телеграфическая депеша от Горчакова!

И все тут же вскочили из-за стола и разошлись.

Погодин записал об этом в своем дневнике так:

«Вдруг, за обедом вскрикивают известие, что Севастополь взят. Послал за газетой. Правда! Так и ударило по лбу. Вечер и ночь в страшном беспокойстве».

А на следующий день запись его была такая:

«Известие от Муханова несколько ободрительнее. Гарнизон спасен. Орудия отчасти. Ездил обедать в клуб. Толковал с разными лицами. Уныние, но в карты все-таки играют и по-французски говорят».

Сергей Тимофеевич Аксаков писал сыну Ивану в Бендеры, где стоял он со своей Серпуховской дружиной ополчения:

«Сегодня поутру получили мы горестное известие о взятии или об отдаче Севастополя... То, чему так долго не хотелось верить, совершилось. Хоть и предупрежден я был слухами, но чтение депеши Горчакова о Севастополе перевернуло меня всего. Воображаю, что за отчаянная, баснословная была битва. Пронесся здесь слух, что Корниловский бастион мы вновь отбили. Или мало всех этих жертв, чтоб пронять и вразумить Россию? Ужасно! Воображаю, как дрались! Говорят, будто Горчаков отозван. Как я был бы рад этому: ни одного счастливого дела его за всю кампанию!.. Ах, как там дрались, я думаю. Картина этой битвы беспрестанно мне рисуется... Я покуда не умею владеть собою и по временам предаюсь такому волнению,

которое мне вредно...»

Иван Аксаков отвечал отцу:

«Как неумолимо правосудна судьба, как жестока в своей логике! Признаюсь, я не очень негодую на Горчакова. Севастополь пал не случайно, не по его милости. Я жалею, что не было тут искуснейшего генерала, чтобы отнять всякий повод к искажению истины. Он должен был пасть, чтобы явилось в нем дело божие, то есть обличение всей гнили правительственной системы, всех последствий удушающего принципа. Видно, еще мало жертв, мало позора, еще слабы уроки: нигде сквозь окружающую нас мглу не пробивается луча новой мысли, нового начала».

Были глубоко взволнованы и люди, боровшиеся со славянофилами. Грановский писал:

«Весть о падении Севастополя заставила меня плакать. А какие новые утраты и позоры готовит нам будущее... Будь я здоров, я ушел бы в милицию без желания победы России, но с желанием умереть за нее. Душа наболела за это время. Здесь все порядочные люди поникли головами».

Весть о Севастополе в имение Тургенева Спасское-Лутовиново, где был в это время писатель, дошла, разумеется, несколькими днями позже, чем в Москву, и Тургенев писал Аксакову-отцу пятого сентября:

«Хотелось бы написать вам о моих весьма неудачных охотничьих похождениях, но известие о Севастополе, полученное здесь вчера, лишило меня всякой бодрости. Хотя бы мы умели воспользоваться этим страшным уроком, как пруссаки Иенским поражением...»

Для славянофилов московских Крымская война была как бы священной войной, войной креста с полумесяцем, с одной стороны, славянской самобытности с чуждыми идеями прогрессивного просветительства, с другой.

Так они хотели истолковать смысл севастопольской обороны. Но события истории с большей наглядностью, чем когда-либо, раскрыли консервативную несостоятельность славянофильских иллюзий.

Вождь славянофилов Хомяков верил в чудо перерождения, когда писал в начале Восточной войны, обращаясь к России:

О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой!

Чудес история не знает. Славянофилам оставалось только согласиться со своими противниками на том, что нужно «воспользоваться уроком» поражения. Но почва уже была выбита из-под ног этого течения; наступает его закат.

В обороне Севастополя проявились прежде всего сила и доблесть русского народа, многомиллионного крестьянства. И в лице Чернышевского оно выдвигает своего блестящего представителя, вскоре ставшего во главе передовой русской общественной мысли.

Что же касается дальнейших возможностей войны, то русское общество услышало на этот счет слова из Нижнего, от Даля{110}, который не зря был раньше офицером Черноморского флота.

«Вы спрашиваете, каково у нас в Нижнем, что говорит народ, не падаем ли мы духом, — писал он Погодину. — Избави господь от этого. Народ наш всегда и всюду одинаков. У него нет ни понятий, ни чувств других, кроме ясного уразумения необходимости покоряться всем тягостям оборонительной войны. Если бы мы вели войну заграничную, то суждения могли бы еще быть различны; но доколе мы сами отбиваемся от наступника, ни в народе, ни в других сословиях, словом, ни в одной русской голове не может угнездиться иной помысел, как вставать поголовно вокруг неприятеля по мере того, как он подвигается вперед. Чем он далее зайдет, тем ему тяжелее, а нам легче. Удобство морского сообщения, обширность наших берегов, сила, огромные средства, уменье — все это на его стороне. Но нам стоит только не покоряться, а покорить нас нельзя. Он может занять стотысячную армией любую береговую местность, сделать внезапную вылазку, но он может держаться на ней только, доколе будет стоять в таких силах и не углубляться в материк. Как бы ни была тесна дружба Союза, средства на войну такого рода должны истощиться; устойчивость наша должна взять верх. Чем больше неприятель захватит, тем труднее ему будет оградить и удержать захваченное, тем

легче будет нам обходить его и поражать по частям; а когда настанет срок неминуемого перелома, то бедствие наступателя неизбежно, а поражение его не уступит бывшему за нашу память примеру...»

Так думал Даль в Нижнем. Несколько иначе думали правящие круги в Петербурге.

III

Сколько ни присылалось английским адмиралтейством приказов адмиралу Непиру проявить энергичную деятельность в Балтийском море, престарелый Непир доносил, что и Кронштадт и Свеаборг неприступны. В резкой форме приказано ему было, наконец, спустить свой флаг, и начальником эскадры назначен был контр-адмирал Дундас. Наполеон III также сменил начальника французской эскадры в Балтийских водах: вместо адмирала Персиваля поставил контр-адмирала Пэно.

Но от этих перемен ни Кронштадт, над укреплением которого трудился Меншиков, ни Свеаборг не стали слабее, и большая союзная эскадра — двадцать винтовых линейных кораблей и тридцать два парохода, — в большинстве английские, — проводили время только в том, что топили финляндские лайбы или обстреливали мирные прибрежные города и селения.

Только в конце июля, за месяц до оставления Севастополя, союзные адмиралы, для того чтобы показать своим правительствам видимость серьезных действий, решили бомбардировать Свеаборг.

Непрерывно двое суток гремела канонада; наконец, истощив весь запас снарядов, эскадра ушла. Мортирные лодки были отправлены в Англию, так как никакой новой бомбардировки до начала зимы адмиралы Дундас и Пэно предпринимать не собирались.

Император Александр убедился, что Петербург с моря защищен прочно, что опасность отсюда не угрожает, что все свои заботы он может нераздельно отдать югу. Телеграмма Горчакова о том, что он вывел гарнизон из Севастополя на Северную, заставила Александра очень быстро собраться, взять обеих императриц и всех трех братьев и отправиться с ними первого сентября сначала в Москву, а потом, через несколько дней, в Николаев.

Императрицы, впрочем, вернулись из Москвы в Петербург, а братья царя прониклись его мыслью, что теперь, после падения Севастополя, должна начаться новая война на всем юге и на западе России, что Севастополь был только прологом трагедии, которая ожидает страну. Первоначально Александр думал ехать из Москвы в Варшаву, поговорить с Паскевичем насчет войны с Австрией, которая теперь, по мнению царя, была решительно неизбежна. И только в самый последний день маршрут был взят на Николаев под влиянием чтения иностранных газет, где о подготовке австрийского нашествия пока ничего не говорилось, о Николаеве же много. Но полумертвого фельдмаршала так неотступно преследовал призрак марширующих к нему австрийских дивизий, что он сумел напугать этим видением и самого царя, вообще склонного к пугливости.

Кроме Николаева, в особых заботах нуждалась также и Одесса, которая могла в любое время подвергнуться нападению союзной эскадры, а царь был еще к тому же обеспокоен тем обстоятельством, что из Севастополя в разные банки было прислано по несколько миллионов. Об этом шел разговор во дворце, и академик Пирогов, который обращался к императрице за разрешением снова ехать в Севастополь (это было в июле), так прямо и брякнул:

— Наворованные миллионы, ваше величество!

— Кто же там ворует? — изумилась императрица. — Ведь там воюют...

— Кто воюет, а кто ворует, — объяснил Пирогов. — А бывают даже и такие, которые правой рукой воюют, а левой воруют.

Как раз в это время на половину своей жены вошел царь и услышал, что сказал Пирогов. Он строго посмотрел на ученого, столь резкого в своих суждениях о севастопольцах, и повышенным голосом сказал:

— Это неправда! Этого не может быть!

Однако Пирогов не растерялся, не залепетал нечто неразборчивое, но подобострастное. Он тоже повысил голос:

— Это правда, государь, и я сам видел это неоднократно!

Когда Александр приехал в Николаев, ему не стоило большого труда увидеть то же самое, что видал Пирогов в Севастополе. Даже он ужаснулся и размерам и способам хищений. Во главе инженерной части он поставил своего брата Николая, во главе артиллерийской

другого брата — Михаила, из Севастополя вытребовал Тотлебена, кроме того, всех моряков, какие еще остались: хотя с опозданиями начались оборонительные работы в этом важнейшем после Севастополя военном центре Причерноморья.

Матросы, которых из восемнадцати тысяч осталось только около четырех тысяч, добравшись до Николаева, иные женатые, с семьями и с кое-каким скарбом, принялись за дело укрепления этого города, как знатоки всех необходимых подробностей. Они ставили мины в реке Буге, перед Воложской косой; при их деятельном участии устраивались береговые батареи, прочные пороховые погреба и блиндажи при них, а когда покончено было с этим, они же принялись возводить и сухопутные укрепления: кому-кому, а уж им-то, севастопольским матросам, все эти редуты и бастионы были известны в каждой лопате земли.

И когда, в последних числах октября, все работы приходили уже к концу и орудия как береговых батарей, так и сухопутных заняли предназначенные им места, матросы говорили о союзном флоте:

— Ну, теперь айда к нам в гости! И как ежели скажешь потом, что хуже тебя здесь отпотчевали, чем в Севастополе, то уж, брат, сбрешешь!.. Тут одних блиндажей на пятнадцать тысяч человек вывели, — шутка это тебе? Было это когда в Севастополе? Не было, брат, этого, — нам известно! И снарядишков теперь хватит! У царя на глазах генералы мошенничать себе не позволят: не о двух они головах...

Доступы к устью Буга прикрывала маленькая, доставшаяся от турок еще при Екатерине II крепостца Кинбурн, которую пришлось однажды защищать от турецкого десанта Суворову, причем он был ранен и спасен от верной смерти гренадером Шлиссельбургского полка Семеном Новиковым.

У маленькой крепостцы была длинная история. Призванный теперь защищать вход в Днепровско-Бугский лиман, то есть стоять на страже и Николаева и Херсона, Кинбурн был несколько подновлен, но вооружение его все-таки оставалось слабым: всего около девяноста орудий, из них только десять мортир; тысяча триста человек гарнизона делали Кинбурн еще менее значительным укреплением с

точки зрения интервентов, чем Бомарзунд на Аландских островах, взятый и разрушенный ими в начале войны. И, однако, на него ополчились огромные силы.

Двадцать пятого сентября стало известно в Николаеве, что из Балаклавской и Камышовой бухт вышел союзный флот двумя колоннами под флагами адмиралов Брюа и Лайонса, всего девяносто вымпелов, и взял направление к Кинбурнской косе.

Флот этот вез вдвое больший десант, чем когда-то, при Суворове, высадил на этой косе турецкий флот. И если тогда великому полководцу стоило большого труда и опасной раны выбить пятитысячный десант турок, прикрытый шестьюстами орудий судов, то теперь ничем не знаменитый генерал-майор Коханович, начальник гарнизона Кинбурна, должен был встретить четыре тысячи французов под командой Базена и шесть тысяч англичан под командой Спенсера, а среди судов эскадры союзников было три броненосца, или, как их тогда называли, броненосные плавучие батареи. Они принадлежали французам, и толщина их брони была четыре с половиной дюйма.

От Херсонского полуострова до Кинбурнской косы расстояние небольшое, но флот интервентов появился в виду Кинбурна, Очакова и острова Березани только в начале октября: он не спешил.

Остров Березань был пуст, но Очаков имел укрепление, начальником которого был генерал Кнорринг, так что вход в лиман охранялся с обеих сторон, однако гарнизон Очакова был еще слабее численно, чем гарнизон Кинбурна. Маленький рыбацкий городок этот — Очаков — имел башню семафорного телеграфа, и, чтобы сообщать оттуда в Николаев о действиях неприятельской эскадры против Кинбурна, был командирован туда Стеценко.

Теперь он имел уже чин капитана 2-го ранга. Как бывший адъютант Меншикова, он был известен генерал-адмиралу, великому князю Константину, и его вместе с бывшим командиром «Владимира» Бутаковым потребовали в Николаев в середине сентября, где он был назначен начальником штаба князя Барятинского, командовавшего войсками на обеих сторонах Буга.

В Очакове Стеценко, как год с лишком назад под Евпаторией, увидел огромную эскадру интервентов, полукругом выстроившуюся против

Кинбурна, став на якорь в море, а южнее канонерские лодки, пробравшись в лиман, проворно выстраивались здесь: замысел неприятельских адмиралов поставить крепостцу под перекрестный огонь был ясен.

Вскоре загремела канонада.

С вышки телеграфной башни, где стоял Стеценко, трудно было судить, насколько действителен был огонь крепостных орудий, так как с первых же залпов эскадра союзников скрылась в густом дыму.

Подсчитав еще до открытия бомбардировки приблизительную силу залпа судов из орудий одного борта, Стеценко пришел к выводу, что Кинбурн будет не в состоянии долго противиться бомбардировке союзников, однако ему вспомнилось также и старое правило морских сражений: одно орудие на берегу стоит целого корабля в море.

Что среди крепостной артиллерии было очень мало мортир, ему уже было известно, зато неизвестным для него осталось наличие здесь у французов трех бронированных плавучих батарей, стоявших в первой линии. Он не мог знать того, что русские ядра, падая на палубу этих судов, делали в броне только легкие вмятины и потом отлетали от них, как футбольные мячи.

Это были первые броненосцы в бою: имена их были: «Лава», «Опустошение», «Гремящий»; они вышли из верфи в Тулоне.

Около полудня в этот день (третьего октября) Стеценко увидел тоже знакомую ему картину: подошли транспорты с войсками и начали высадку десанта, имея в виду отрезать Кинбурн от сообщения с сушей. Это важное наблюдение он тотчас передал в Николаев в надежде, что оттуда пошлют пехотные части.

Канонада между тем продолжалась до темноты. Ночью было тихо, и Стеценко представлял, что к утру произойдет на Кинбурнской косе нечто подобное тому, что было тут шестьдесят восемь лет назад, в начале октября 1787 года: также подойдут русские пехотные полки и после жестокого боя сбросят десант союзников в море.

Но наутро началась новая канонада, причем к неизбежному дыму присоединился еще и туман, совершенно скрывший из глаз Стеценко и крепость и эскадру противника. Донесения в Николаев поневоле стали однообразны и очень неопределенны, между тем как Стеценко затем

только и был командирован в Очаков из Николаева, чтобы дать туда сведения о ходе дела в Кинбурне.

Что на море туман, из которого даже и солнце выступает только в виде бледного худосочного кружочка, что стрельба сотрясает воздух, но ничего не видно, — об этом, конечно, могли бы дать донесения и адъютанты генерала Кнорринга; Стеценко понимал это, и, для того чтобы выйти из глупого положения, он решился на очень смелый шаг. Узнать что-нибудь достоверное о положении Кинбурна можно было только добравшись до Кинбурна, а добраться до него никак иначе было нельзя, как только на шлюпке и под прикрытием ночной темноты. Поэтому вечером он с помощью очаковского городничего принялся искать шлюпку для этой цели.

Шлюпка нашлась, конечно, и нашлись гребцы, но нужно было получить разрешение Кнорринга на опасную рекогносцировку, а Кнорринг, насколько успел узнать его Стеценко, такого разрешения ни за что бы не дал. И Стеценко отправился на свой страх и риск, предупредив только об этом одного из адъютантов Кнорринга, но разрешения не дожидаясь. Конечно, гребцы были опытные, и весла были обмотаны каболкой.

Стеценко взял направление на канонерки, как они стояли в предыдущий день, думая, что легче будет проскочить незамеченным между ними, — строй их был сравнительно редкий.

К ночи туман несколько рассеялся, и опасность наткнуться прямо на корму какой-либо из лодок не ждала Стеценко; напротив, другая опасность вырисовывалась перед ним, когда шлюпка проскочила между двух канонерок: могли заметить шлюпку дозорные с берега, свои же, из крепости, принять ее за неприятельскую, конечно, и открыть по ней пальбу из ружей.

Чтобы предупредить такую неприятность, Стеценко начал кричать: «Свои, свои, э-эй, свои, не стреляй!..» — гребцы тоже кричали, и это, как оказалось потом, спасло всех от смерти или увечья.

Когда Стеценко вышел, наконец, на берег, он очень удивил своим появлением офицера в передовой цепи стрелков, но не менее удивились потом и офицеры в крепости.

Его засыпали вопросами о том, идут ли им на помощь войска из

Николаева отстаивать Кинбурн, или они будут здесь предоставлены своим силам, которых очень немного. Стеценко же пришлось разочаровать их: он ничего не знал о решении царя, — напротив, он обязан был передать в Николаев, что делается здесь.

Он заметил, что молодые офицеры были бодры, как это наблюдалось им везде и в Севастополе, офицеры же старших чинов и возраста сомневались в том, чтобы гарнизон мог продержаться еще два-три дня: слишком жесток был обстрел и велики потери.

Наиболее подавленным оказался сам комендант крепости генерал Коханович. Ростом немного выше Стеценко, растерянно торопливый в движениях, он поднес свечу к самому лицу так неожиданно появившегося ночью в крепости, осажденной врагом, штаб-офицера русского Черноморского флота, — флота уже не существующего, — и оглядывал его внимательными, расширенными, но какими-то мутными глазами. Он казался Стеценко надолго оглушенным не то канонадой, не то трудным положением, в котором очутился.

— Прошу вас, ваше превосходительство, написать рапорт о состоянии вверенной вам крепости, — решился, наконец, сказать ему Стеценко, так как тот сам никак не мог или не хотел понять, кто он такой и зачем здесь.

— Что? Рапорт? Какой рапорт? Зачем? — недоуменно и подозрительно зачастил вопросами Коханович. — Вам я должен вдруг писать рапорт? Скажите, пожалуйста, на каком основании? Кто вы такой?

Стеценко пришлось долго объяснять ему, что он начальник штаба князя Барятинского, временно заменяющего генерала Лидерса, главнокомандующего Южной армией, что рапорт этот необходим для представления самому государю.

Больше часа ушло на то, чтобы убедить, наконец, Кохановича сесть за стол и написать хотя бы несколько строк донесения на имя Кнорринга, которому он был непосредственно подчинен.

В то время когда писал донесение комендант, один из инженеров, по просьбе Стеценко, занес в его памятную книжку список повреждений, нанесенных крепости бомбардировкой.

Повреждения, по словам этого инженера, были очень большие, но Стеценко читал запись его в своей книжке: «Главный вал на пятом

бастионе, куртина между 4 и 5 бастионами повреждены; пороховой погреб тоже, но это повреждение исправлено; здания и каземат у Одесских ворот повреждены; на казематах в нескольких местах вырыты бомбами большие ямы...» — и говорил инженеру:

— То ли бывало в Севастополе! И сколько времени держался при подобных повреждениях Севастополь!

И, возобновляя в памяти то, что переживал он в Севастополе, Стеценко недоумевал, чему именно удивляются обступившие его офицеры, что он, капитан 2-го ранга, начальник штаба, решился на такую рискованную прогулку под носом у огромной неприятельской флотилии.

Коханович кончил писать донесение; Стеценко выбрался из крепости, уселся в свою шлюпку и старался для себя самого решить, будет ли Коханович защищаться до последней крайности, или сдаст крепость, может быть, даже в этот день к вечеру (новый день уже наступил).

Гребцы так же осторожно и теперь работали веслами. Пронизывала холодная сырость моря, но стало виднее и потому опаснее.

Сквозь линию канонерок прошли все-таки удачно, не обратив на себя внимание, но дальше какая-то длинная тень показалась в море.

— Что это? Неужели берег? — удивился Стеценко.

— А вже ж бэрег, — сказал один из гребцов.

Но еще несколько бесшумных взмахов веслами, и Стеценко отличил очертания большого парохода, причем пароход этот не стоял на якоре, а двигался и как раз на пересечку курса, взятого шлюпкой.

Несколько мгновений дал себе Стеценко, чтобы решить, можно ли проскочить впереди парохода, и, решив, что можно, вполголоса приказал гребцам налечь на весла.

Все предосторожности теперь были уже отброшены, — гребли изо всех сил и проскочили, но было около минуты жуткого ожидания, не раздастся ли с борта парохода пушечный выстрел, не обдаст ли шлюпку картечь...

Не заметить шлюпки с парохода не могли, — туман уже поднялся, — однако и поднимать тревогу выстрелом, видимо, не хотели. Шлюпка благополучно вернулась в Очаков еще до рассвета.

IV

На своей квартире на столе нашел Стеценко бумажку от Кнорринга. Адъютант генерала передал ему, конечно, о том, что моряк из Николаева хотел было обратиться к нему за разрешением на поездку в Кинбурн, но боялся, что это отнимет много времени, тем более что в разрешении не сомневался.

Кнорринг же решил умыть руки, так как не сомневался в напрасной гибели моряка. Он писал, что разрешения дать не имеет даже и права, так как Стеценко ему не подчинен, а прислан сюда «для самостоятельных наблюдений с телеграфной башни его высочеством генерал-адмиралом».

Все-таки, чуть настало утро и Кнорринг встал, Стеценко счел нужным пойти к нему доложить о виденном в Кинбурне.

Кнорринг изумился, его увидев, но счел нужным тут же строго насупить брови.

— Счастлив ваш бог, что вам удалось... э-э... удалась, я хотел сказать, эта ваша затея, — заговорил он, косвенно глядя на маленького моряка. — А ведь если бы не удалась — не миновать бы вам суда, — вот что-о!

— Если бы не удалась, то со мной, ваше превосходительство, могло бы случиться что-нибудь одно из трех, — стал добросовестно представлять самому себе всякие возможности Стеценко: — я или был бы убит в шлюпке пулей, или утонул бы в море, или на самый худой конец был бы ранен и взят в плен... Обо всем этом я думал, когда отправлялся, но о суде, признаюсь, не догадался вспомнить.

— Напрасно не вспомнили, очень напрасно, вот что-с! Вашим поступком вы и меня подводили под красную шапку, должен я вам сказать.

Кнорринг поднял голову, посмотрел на Стеценко так, как будто он был уже председателем суда над ним, и добавил:

— Вам следует, по моему мнению, сейчас же ехать с донесением генерала Кохановича в Николаев и представить это самое донесение его величеству, что он скажет, вот что-о!

Стеценко понял, что Кнорринг последними словами своими выразил заботу о себе самом и вверенном ему Очакове, который мог быть

атакован точно так же, как и Кинбурн, поэтому не медля отправился он в Николаев под гром новой канонады, гораздо более напряженной, чем предыдущие.

Когда царь поселился в Николаеве, то заботы об укреплении этого города создали около него деловую обстановку, почему вставал и завтракал он рано, рано и обедал — в два часа; к этому времени привез и Стеценко донесение Кохановича в запечатанном конверте.

Конверт с донесением передан был дежурному генералу, и вскоре царский камердинер, сказав Стеценко, что он приглашен на обед, указал за столом его место.

В начале обеда, когда только что все обедавшие, — до тридцати человек, — разместились, тот же царский камердинер, благообразный и важный, подошел к Стеценко и сказал вполголоса, наклонившись:

— Его величество просит вас к себе.

Голубые, слегка усталые глаза Александра, повернувшегося на своем стуле к подошедшему Стеценко, пришлось как раз вровень с его глазами. Стеценко привык уже читать в глазах людей, впервые его видевших, этокое обидное недоумение, внушаемое его малым ростом; это же недоумение прочитал он и в глазах впервые видевшего его царя.

— Здравствуй, Стеценко! — отчетливо сказал царь, кивнув коротко головой.

Стеценко ответил на это приветствие по форме.

— Ты был в Кинбурне этой ночью... Расскажи, что там.

Стеценко понимал, что длинного, обстоятельного доклада теперь, во время обеда, от него не требуется, конечно, что нужно было упомянуть только о настроении офицеров, которых он видел, и о тех повреждениях, о которых он слышал от инженера, и он сказал:

— Настроение командного состава мне показалось вполне бодрым и желание отстаивать крепость до последней крайности было у всех налицо, ваше величество. Что же касается повреждений в крепостных казематах и валах, то они, на мой взгляд, незначительны и частично, — это касается одного порохового погреба, — уже исправлены.

— Спасибо тебе за службу, — кивнул ему царь.

— Рад стараться, ваше величество, — отозвался на этот знак

«монаршей милости» Стеценко и отошел на свое место.

Только теперь, оглядев всех, сидевших за столом, Стеценко увидел ротмистра Грейга, старого своего знакомца, бывшего теперь адъютантом великого князя Константина.

Его не замечал он здесь раньше в свите генерал-адмирала. Он появился в Николаеве, очевидно, совсем недавно. Грейг, поймав его взгляд, приветливо заулыбался ему, только что ошастливленному беседой с царем.

А царь, быть может тоже под непосредственным впечатлением беседы с одним из отважных севастопольцев, поднял бокал вина, взглянул на Бутакова и сказал, несколько повысив голос:

— Сегодня, в годовщину первой бомбардировки Севастополя, пью здоровье храбрых его защитников, которыми я горжусь!

— Ур-ра, защитники Севастополя! — возбужденно молодого крикнул генерал-адмирал, и продолговатое с чисто выбритыми щеками, казавшееся совсем еще юным лицо его сплошь порозовело.

Потом разрешенно кричали «ура» и все за столом и тянулись чокаться с георгиевскими кавалерами — великими князьями Николаем и Михаилом, с Бутаковым, Стеценко и несколькими другими моряками.

Но нужно же было так случиться, что как раз в разгар этого общего возбуждения камердинер поднес царю только что полученную с телеграфа депешу.

Царь пробежал ее быстро и поднял глаза на Стеценко. Взгляд его был теперь не то чтобы строг, а только серьезен, неподвижен от явного недоумения, и Стеценко по одному этому взгляду догадался, что депеша о Кинбурне, что гарнизон крепости, пожалуй, даже сдался.

Через минуту все за столом уже знали, что депеша была послана самим Кноррингом из Очакова и говорила действительно о сдаче Кинбурна.

Обед продолжался почти так же оживленно, как и начался: как ни был поражен, видимо, Александр депешей. Стеценко чувствовал себя так, как будто он просто глупо нашкольничал докладом о бодрости командного состава гарнизона, в то время как сам комендант Коханович проявлял не бодрость, а самую жалкую растерянность.

Убитый вид Стеценко, конечно, был замечен царем, и когда обед

кончился и царь вышел на балкон, он сам подозвал к себе сконфуженного героя.

— Кинбурн сдался, а ты... ты как будто совсем не ожидал такой развязки, а?

— Ваше величество, я пять месяцев провел на первом участке оборонительной линии Севастополя, и то, что мне говорили тут, в Кинбурне, о полученных повреждениях, не могло мне не показаться совсем несерьезным! — горячо и вполне искренне ответил Стеценко.

— Со мной моя памятная книжка (он быстро вынул ее из бокового кармана), и вот в ней я просил инженер-капитана Брикнера записать все повреждения от бомбардировки. Все эти повреждения уместились на половине странички, ваше величество! Как же мог я ожидать, чтобы совсем почти неповрежденная крепость сдалась через несколько часов после того, как я ее покинул.

Заметив его взволнованность, как будто он сам был виноват в сдаче крепости, царь равнодушно улыбнулся и сказал:

— Что делать, Кинбурн сдался, но твой подвиг все-таки останется подвигом, и ты получишь награду.

Бывший тут же генерал-адмирал пожал руку Стеценко, поздравил его и добавил:

— С этого дня ты зачисляешься ко мне адъютантом, а завтра отправляйся снова в Очаков. Передашь генералу Кноррингу, что он получит отдельное приказание, как ему поступить, чтобы не повторилась история с Кинбурном.

На другой день Стеценко получил георгиевский крест, а Кнорринг — приказание взорвать укрепления, если неприятельский флот будет угрожать Очакову, и вывести во избежание напрасных потерь гарнизон.

Через несколько дней так и было сделано Кноррингом.

После этого отряд канонерок осмелился было войти в лиман с намерением атаковать Николаев, но, встреченный пальбой береговых батарей, повернул обратно и больше уже не возобновлял этих попыток.

Глава вторая

I

Взятием Кинбурна окончились все действия на море. Можно было опасаться за участь Одессы, но Одессу довольно сильно успели укрепить за время войны. Там, кроме восемнадцати береговых батарей, устроены были в виде отдельных люнетов сорок пять сухопутных, включающие свыше двухсот полевых орудий для отражения десантной армии большой численности. Такой армии интервенты выделить не могли, конечно.

Даже и Омер-паша для действий на Кавказе должен был собрать корпус в Турции, чтобы не ослаблять турецких войск в Крыму.

Перед последним штурмом Севастополя в английское военное министерство был внесен проект некоего Дундональда овладеть Большим реданом и Малаховым курганом при помощи серных паров, которые должны были выгнать с этих бастионов всех без исключения защитников.

Чтобы получить достаточный объем серных паров, Дундональд предлагал сжечь пятьсот тонн серы на костре из двух тысяч тонн угля. Конечно, разжечь такое количество угля можно было только при достаточном запасе сухого дерева и соломы, а чтобы пары пошли на русские бастионы, а не обратно, необходимо было сообразоваться с направлением ветра.

Когда в военном министерстве выразили сомнение, чтобы русские допустили беспрепятственно разводиться костер таких гигантских размеров, чтобы они немедленно не открыли по рабочим убийственной бомбардировки, Дундональд придумал для защиты рабочих дымовую завесу. Для этой цели он считал достаточным зажечь две тысячи бочек дегтя впереди костра.

Но когда возразили ему, что деготь может сгореть быстрее, чем будет разожжен костер из двух тысяч тонн угля, тогда Дундональд выдвинул новые две тысячи тонн смолистого угля в промежутки между бочками дегтя и костром для сжигания серы.

Английские газеты, не признававшие никаких военных тайн, не только напечатали, но еще и вышутили проект Дундональда. Много смеялись

над ним и в Николаеве, в свите Александра II, не подозревая, что затея эта, в других только формах, гораздо менее громоздких и более действительных, прочно войдет в практику войн в двадцатом веке, войн по преимуществу позиционных, для которых прообразом явилась осада Севастополя.

Кинбурн был занят французским отрядом, на Очаков же покушений со стороны эскадры союзников так и не было, как не было их и на Одессу, перед которой в бездействии простояла эта эскадра несколько дней.

За отплытием ее от Кинбурна Александр наблюдал сам из Очакова. Она направилась снова в Крым, вслед за нею туда же направились стратегические планы царя, обдуманные им еще в Москве.

Планы эти были вообще очень обширны, так как в основание их легла предвзятая мысль, что потерей Севастополя закончилась малая война, после чего неминуемо должна начаться большая, причем застрельщиком этой новой большой войны явится, конечно, Австрия.

Говорится, что «мертвый хватает живого»; но часто с неменьшим успехом делают это и полумертвые. Страх перед Австрией сумел внушить Александру фельдмаршал Паскевич, который только и писал, что его армии придется с наступлением весны выдержать первый и сильный удар австрийцев, поэтому она должна быть значительно увеличена, так же как и Средняя армия, опирающаяся на Киев и созданная Николаем по его же настойчивым просьбам.

По плану «большой» войны защите Северной стороны никакого значения не придавалось, так как Александру мерещились обходы армии Горчакова путем переброски значительных десантных отрядов от устья Качи до Евпатории.

Поэтому Александр, успокоившись в октябре, с отплытием эскадры союзников, за судьбу Николаева, стал готовиться к поездке в Крым, чтобы там на месте обсудить с Горчаковым, как удобнее будет стянуть всю его армию к Симферополю и здесь, в центре полуострова, обезопасить ее от обходов со стороны западного берега. Это, по мнению Александра, позволило бы сократить Крымскую армию, причем излишки ее пошли бы на подкрепление армий Южной и Средней.

В конце октября Александру стало известно, что на все понукания из Парижа Пелисье упорно отвечает отказом куда-либо передвигать свою армию и готовится зимовать там же, где зимовали французы раньше. Это успокоило царя, и он решился появиться в Крыму.

II

Крымским грифам, орлам-стервятникам, свойственно быть санитарями полей сражений, и, когда царь подъезжал к Бахчисараю, ставке Горчакова, довольно большая стая их плавно реяла высоко в небе, выискивая зоркими глазами не просто падаль, а обильную падаль; но стоило только Александру обратить на них внимание, как сопровождавшие его начали усердно считать их, возбуждаясь по-детски.

— Двадцать орлов, ваше величество! — торжественно провозгласил один.

Двадцать — это было очень удобное число: делилось на два, на четыре, на пять, на десять, — вообще по своей круглоте явно означало что-то такое вещее.

Однако другой из бывших в коляске с царем, излишне приверженный точности, заметил первому:

— Насколько мне кажется, не двадцать, а двадцать два орла.

Действительно, грифов было двадцать два: они кружились медленно, важно, и сосчитать их было нетрудно. Наконец, двадцать или двадцать два — все равно, они представляли из себя зрелище, наводящее на бодрые мысли. Они похожи были на приветственную депутацию, тем более что кружились дружно и долго, не разлетаясь.

Высочайше признано это было добрым знамением, а что же еще больше нужно было Горчакову, который, впрочем, не обладал таким орлиным зрением, чтобы отыскать не только орлов в небе, но и порядочный дом в Бахчисарае, достойный принять монарха России с его двумя братьями.

Дворец был издавна занят под госпиталь и переполнен ранеными, дом, в котором жил он сам, был мал... Кое-что нашлось, конечно, но ведь могло не понравиться, хоть царь и предупреждал, что он пробудет в Крыму всего-навсего не более трех дней.

Никакой пальбы со стороны Севастополя не доносилось; погода стояла сухая и теплая, вместо огромного десанта интервентов от устья Качи, что часто мерещилось царю в бытность его в Николаеве, его встретило в здешнем соборе большое количество торжественно облаченных попов, и начался громогласный молебен: двадцать два орла пришлись кстати.

В Бахчисарае, тут же после молебна, смотрел царь несколько поставленных в резерв полков из бывшего гарнизона Севастополя.

Полки эти, конечно, давно уже отдохнули; солдаты в них для смотра были парадно одеты, все в начищенных киверах и ослепительно белых широких ранцевых ремнях, перекрещенных на груди; ходили под музыку широким шагом, вытягивая исправно носки; «ура» кричали зычно и радостно; вид имели сытый... Александр благодарил солдат, благодарил офицеров, благодарил Горчакова...

На другой день он был уже на Северной стороне. Здесь, с Волоховой башни, долго разглядывал развалины города и бывшие бастионы и, по свидетельству очевидцев, по впалым щекам его катились слезы: он был чувствителен, ученик Жуковского.

В то же время мощные сооружения Северного фронта и длинные ряды батарей, выросшие благодаря неисчислимым трудам солдат на Северной стороне, убедили его в том, что отдавать все это без боя врагу, который не в состоянии тут вести лобовую атаку, невозможно, что это прежде всего удивит армию противника и жестоко оскорбит свою... Он увидел, что придуманный им в Москве и получивший одобрение со стороны ближайших его советников в Николаеве проект стягивания всех крымских войск к Симферополю, чтобы отсюда защищать остальной Крым, надо отбросить.

Он смотрел войска и на Инкерманских высотах и на Мекензиевых горах и видел, что отступить с такими солдатами нельзя. В то же время он видел, что армия союзников утомлена: иначе чем же и как было бы объяснить молчание их батарей?

Знаменитый Камчатский полк был выведен на смотр в одном только батальоне, численно меньшем, чем в мирное время. Командир полка объяснил царю, что есть еще один батальон камчатцев, но стоит на позициях.

— Ничего, один батальон камчатцев стоит иного целого полка, — сказал царь и добавил: — Вот эти, например, два правофланговых, что за молодцы такие? Как фамилия?

Тот, к кому обратился царь, уже пожилым на лицо, но выше всех в полку ростом, сероглазый здоровяк, степенно ответил:

— Михайлов Семен, ваше императорское величество!

Но во второй шеренге стоял разительно похожий на Михайлова Семена, почти столь же высокий молодчага, но только гораздо моложе на вид.

— А твоя фамилия? — обратился к нему Александр.

— Михайлов Степан, ваше императорское величество! — как эхо первому, отозвался второй богатырь.

— Вы что же, братья, что ли?

— Степан, это мой сын, — ответил Семен.

Оба они были унтер-офицеры, оба с Георгиями, но совсем не по форме у обоих прицеплены были к поясам не тесаки, а французские сабли; кроме того, еще пистолеты оказались у обоих засунуты за пояс, и эта вольность в вооружении заставила царя спросить Семена Михайлова:

— Откуда у вас обоих сабли?.. Какой вы губернии уроженцы?

— Сабли нам пожалованы были за храбрость нашу, также и пистолеты, ваше императорское величество, — расстановисто объяснил Семен Михайлов, — а урожденные мы Новгородской губернии, пришли оттоль защищать землю русскую!

— Так вы волонтеры, значит! Молодцы! Спасибо вам, братцы!

— Рады стараться, ваше императорское величество! — истово и согласно рявкнули оба.

— Спасибо, спасибо... Будете в Петербурге, заходите ко мне в гости: я вас не забуду.

— Пок-корнейше благодарим!..

И даже не добавили на этот раз титула, — так озадачило богатырей-новгородцев это царское приглашение в гости.

От Камчатского перешел царь к смотру других полков, и в каждом полку находил он кого-нибудь из солдат, украшенных крестами за храбрость, с кем говорил, — «удостаивал разговором», но в гости пригласил только Михайловых, о чем узнал на другой только день,

когда царь уже уехал, пластун Василий Чумаченко, бывший по обыкновению в секрете перед позициями другого батальона камчатцев, у Черной речки.

Как он жалел, что не был на смотре!.. Несколько раз срывал он с себя облезлую папаху и швырял оземь, — так досадно было ему, что зло подшутил над ним случай... Ведь мог бы и он, — тоже волонтер и тоже унтер-офицер да не с одним, а двумя крестами, услышать от царя это: «Будешь в Петербурге, заходи в гости: я тебя не забуду».

— Пойдете когда-сь к государю? — настойчиво спрашивал он Михайловых.

— Да ведь мы в Петербурге не бываем, — отвечал отец, а сын добавлял:

— Разве это всуерьез сказано было? Куда же мы, мужики, в гости к государю годимся? Ни ступить, ни молвить... Да нас от дворца, небось, вот как погонят!

— А я бы пошел! — горячился пластун. — Эх, кому надо, мимо того прошло, а кому не надо, тем присыпало!

— Поди-ка такой, собаки, небось, последнее на тебе дорвут, — усмехнулся Степан Михайлов, но Чумаченко даже не поглядел на свою драную черкеску.

— Одежу бы, конечно, новую справил, что ж такого... А зато бы я знал бы, что мне сказать государю надо, и, может, мое дело бы тогда повернуло куда следует, а не как теперь.

Чумаченко не проговорился, конечно, отошел сумрачно, но мысль явиться во дворец к царю и у него выпросить себе прощение захватила его так сильно, что в тот же день поделиться ею отправился он к Хлапонину.

Хлапонин выжил, казалось бы, вопреки даже самой медицине, так по виду безнадежно был он измят в кровавый день штурма двадцать седьмого августа.

Почти вся спина его стала сплошной вздувшийся кровоподтек; три ребра надломлены; ноги и руки в ожогах и ранах... Терентию не пришлось тащить его до Павловских казарм, — попались навстречу носилки, — но когда он увидел, как забит до отказа ранеными здешний перевязочный пункт, он решил не возвращаться на свой

бастион, пока не устроит «дружка» в том самом госпитале на Северной, в котором лечился от штыковой раны сам в июне.

Его подбадривало то, что иногда Хлапонин открывал глаза и смотрел на него благодарно, даже пытался шевелить губами. Он не хотел верить, что «дружку» осталось жить всего, может быть, час, два и что напрасны все его заботы. Даже когда говорили ему: «Помрет, должно...» — он готов был кулаками доказывать любому, что тот дурак. И добился все-таки места для носилок с Хлапоным на барже, которую паровой катер перетянул на другой берег.

Это была большая удача: раненых из Павловских казарм начали переправлять сюда, но только с наступлением сумерек, спешно и под сильным огнем с английских батарей, а до того Хлапонину успели уже сделать на Северной перевязку, он пришел в сознание и просил дать знать о его состоянии на Бельбек Елизавете Михайловне. И если этого не было сделано в тот же день, то на следующий к вечеру она была уже около его койки, и, чувствуя в своей руке ее руку, он спасительно поверил в то, что останется жив, поправится, что даже и калекой не будет.

Заботы Елизаветы Михайловны подняли его с койки даже несколько раньше, чем это определяли врачи: к концу сентября он уже чувствовал себя прежним Хлапоным. Кстати, к этому времени получил он и чин капитана, к которому представлен был еще после первой бомбардировки, и орден Владимира с мечами (мечи являлись нововведением).

Терентий несколько раз навещал его в госпитале, и теперь уж и Елизавета Михайловна знала и то, что он, пластун Чумаченко, — убийца Василия Матвеевича, и то, что он спаситель ее мужа, что только благодаря ему Дмитрий Дмитриевич, вторично схваченный цепкими лапами смерти, из них вырван.

— Ну что, Лиза, — как-то, улыбаясь, обратился к ней Хлапонин, — выходит, что московские жандармы теперь-то уж как будто бы правы, а? Или во всяком случае недалеко от истины; что ты на это скажешь?

— Это ты насчет Терентия, — догадывалась она. — Нет, мы не подговаривали его убить Василия Матвеевича... Но, разумеется...

— Что «разумеется»? — очень живо любопытствовал он, так как она

замолчала.

— Разумеется, если теперь нас спросят жандармы, не знаем ли мы, куда он делся, мы скажем, что не знаем.

— Это называется укрывательством, Лиза, — напомнил он ей.

— Ну что же, укрывательство так укрывательство... Вот и будем его укрывать, сколько можем... А семейство его мы выкупим, — решительно сказала она.

— Вот это и будет тогда жандармам на руку! — улыбнулся он.

— Можно это сделать через подставных лиц.

— Дознаются!

— Ну, авось все-таки забудут об этом деле после такой войны, неужели ты думаешь, что не забудут?

— А что им война? Они-то ведь не воевали и не воюют, а сидят себе со своими синими папками... Нет, такого дела, как убийство помещика его крепостным, они не забудут, — не таковские!

— Все равно, пусть не забывают, — упрямо отозвалась она. — Мне теперь Терентий этот твой роднее стал родного брата, и... знаешь что? Не можем ли мы его куда-нибудь за границу отправить?

— Ну, нам с тобой зачем же туда... А что касается Терентия, то он и на Кубани мог бы прожить себе спокойно, если бы только не семья его.

— Да ведь семью его мы выкупим!

— И к нему отправим? Полиции только этого и надо будет...

— А если дать взятку полиции? То есть чтобы сам Терентий задобрил ее взяткой...

Хлапонин подумал, покачал отрицательно головой и махнул рукой, не сказав на это ни слова.

И вот теперь, когда царь после смотров уехал из Крыма, перед Хлапоным стоял с белыми крестами на черной рваной черкеске и с неусыпной «домашней» мыслью в побелевших от волнения глазах Терентий. Он рассказал, как двух камчатцев Михайловых приглашал к себе в гости царь, и добавил сокрушенно:

— А я чем же их обоих хуже, Митрий Митрич! Они охотниками пошли, и я то же самое охотник; они унтера стали, и я унтер; у них по егорию храброму, а у меня аж два!.. Ну, вот же поди ты, — хоть и стрельбы уж нет, и всё кричат французы нашим: «Рус, рус, давай мир делать!» —

ну вот надо же, — послали в секрет... А то бы, глядишь, меня до себе бы в гости пригласил государь, вот я бы ему там все и сказал тогда!

— А что бы ты именно сказал? — любопытствовал Хлапонин.

— Что именно бы?

— Да, именно.

— Именно... стал бы я допрежь всего на колени...

— Гм... Можно и не становиться на колени... Ну, да все равно: маслом, говорят, каши не испортишь... А дальше что?

— Дальше?.. А дальше должен я буду сказать так: «Батько наш! Ваше императорское величество!.. Пластун Чумаченко Василь — он только считается пластун, а есть он вовсе беглый — Чернобровкин Терентий, Курской губернии, Белгородского уезду... А что же он делал в бегах, этот беглый? Русскую землю оборонял, тебе, батька наш, служил, — вот что он делал! И сколько через это страданий разных перенес, несть им числа! И скольких неприятелей покарал-порешил, а которых в плен взял вот этими руками своими, за что от тебя же и награды имею!.. Неужто ж не дозволишь ты, батько наш, нам с жинкой, с ребятами, — как их теперь уже пятеро, — в казаки на Кубань записаться, а вину мою чтобы скостить велеть? Неужто ж я перед тобой, батько, за нее не сквитался? Я же сквитался за нее, давно сквитался, а на Кубани б таких гарных казаков тебе из своих ребят згодувал бы, вырастил-обучил бы, як оборонять землю русскую або шашкой, або ружжом, або арканом, — э-эх!.. Прости, батько наш! Душа ж в тебе добрая, як я от людей чув!.. А то злодей був, якого я покарав! Кто пошел под пули, под ядра, под бомбы-гранаты, — он ли пошел, я ли пошел, — рассуди это, батько наш! Он только что пъявков для своей выгоды разводит зачал, а сам-то кто был для народу, как не та же пъявка? А я сколько-то месяцев там провел, где месяц за целый год считается, и сколько разов я смерть себе мог получить, — это ж неисчислимо!.. Даруй же, батько, ваше величество, мне прощение и казачью нам долю з жинкой, з детьми моими!..»

Терентий даже дрожал весь, когда говорил это; Хлапонин чувствовал эту дрожь, так как он держал его за руку, и глядел на него Терентий такими взволнованными глазами, точно воображал очень живо на его месте самого царя, да не здесь, в землянке под Севастополем, а там,

во дворце, в Петербурге.

Отвернулся он, чтобы вытереть пальцем выступившие слезы, и сказал глухо, но решительно:

— Нет, брат Тереха, ничего из этого путного не выйдет!.. Лучше уж не просить тебе прощения, потому что... все равно не простят. Назначил бы царь следствие, если бы ты ему так сказал, а пока суд да дело, посадили бы тебя под замок на долгие годы, вот что, братец.

III

Из Крыма царь поехал прямо в Петербург, так как уже шел ноябрь, начала же военных действий зимою со стороны Австрии ждать было нельзя; наконец, стало известно даже, что она, так же как и Пруссия, готовится приступить к переводу на мирное положение своих войск.

Но напуганный Австрией при посредстве высшего военного авторитета в своей империи — фельдмаршала Паскевича, Александр не верил в искренность намерений Франца-Иосифа демобилизовать армию; он был убежден в том, что если часть австрийских войск даже и будет распущена, чтобы уменьшить военные расходы, то к весне армия будет мобилизована вновь и двинется одновременно на Варшаву и Киев, чтобы поддержать натиск англо-французов на юге России.

Правда, то, что увидел Александр в Крыму, остановило его намерение приказать Горчакову очистить Северную сторону, но этот шаг, который он хотел сделать, был только небольшой деталью в обширном его плане будущей защиты России от нажима Европы: временно можно было пожертвовать этой деталью, чтобы не слишком огорчать войска, — основные кадры огромной армии, которую он хотел развернуть к весне.

В ноябре на театрах войны, — на юге России и на Кавказе, — а также и на западных границах, считая окрестности Петербурга, было под ружьем около семисот тысяч с тысячью тремястами орудий, но мобилизованы были численно гораздо большие силы для отражения нашествия, которого Австрия не могла даже и готовить ввиду полного истощения своих финансов.

В то же время как ни наступательно был настроен Наполеон III, он вынужден был считаться и с настроением французского общества,

очень уставшего от обременительной для Франции войны в Крыму, и с полной инертностью Пелисье, утверждавшего, что «тактика Фабия Кунтатора{111} в Крыму гораздо более уместна, чем тактика принца Конде»{112}, и потому не двигавшегося никуда вперед.

Правда, самая воинственная женщина Европы — королева Виктория под влиянием своего мужа Альберта продолжала еще потрясать копьем, но, рискуя навлечь на себя ее гнев, Наполеон все-таки начал через зятя Нессельроде, саксонского поверенного в делах во Франции, барона Зеебаха, выпытывать, на каких условиях могло бы русское правительство заключить мир.

Узнав об этом, чрезвычайно встревожились в Вене, как бы Наполеон не заключил мир с Александром без посредства Австрии. К декабрю венский кабинет министров составил условия мира и отправил их на утверждение Лондона и Парижа. Наконец, в Петербург приехали одновременно граф Эстергази, как чрезвычайный посол Франца-Иосифа, и барон Зеебах по поручению Наполеона, и перед императором Александром встал очень нелегкий для решения вопрос: принять ли условия мира, продиктованные врагами, или их отвергнуть и продолжать войну с Европой.

Кстати, к декабрю подоспел и необходимый крупный козырь для дипломатической игры: главнокомандующий отдельным корпусом на Кавказе генерал-адъютант Муравьев прислал царю радостное донесение:

«Карс у ног вашего величества. Сегодня, 16 ноября, сдался военнопленным изнуренный голодом и нуждами гарнизон сей твердыни Малой Азии. В плену у нас сам главнокомандующий исчезнувшей тридцатитысячной Анатолийской армии мушир Васиф-паша; кроме него, восемь пашей, много штаби обер-офицеров и вместе с ними английский генерал Виллиамс со всем его штабом. Взято сто тридцать пушек и все оружие, двенадцать турецких полковых знамен, крепостной флаг Карса и ключи цитадели».

Обороной Карса руководил Виллиамс, который получил от Омера-паши, высадившего десант на Кавказе, около Батума, известие о скорой вырубке гарнизона. Однако выручить Виллиамса Омеру-паше не удалось. Он надеялся на помощь изменившего России владельца

Абхазии, князя Шервашидзе, а также мусульман Абхазии и воинственных горских племен. У него скопились большие для Кавказа силы — сорок тысяч человек, при резервах в десять тысяч, а русские силы, противостоявшие ему, были очень разбросаны и слабы. И все-таки Омер-паша наступал так медленно, что пропустил удобное для продвижения большой армии время. В ноябре пошли дожди, горные реки вздулись и стали непроходимы, каждый незаметный еще недавно ручей сделался шумной рекой, дороги в долинах растворились в грязи и исчезли, между тем до Карса было еще очень далеко, а гарнизон крепости дошел уже до предела лишений.

Наступившая зима прекратила военные действия на всех фронтах и предоставила полный простор вежливой, учтивой борьбе дипломатов в богато обставленных кабинетах министерств и дворцов.

Но, разумеется, первый нажим на дипломатов был сделан банкирами: они развязали европейскую войну, получившую название Восточной, они же пришли к выводу, что вести ее дальше тяжело и не доставит уже выгод и пора ее закончить.

Парижский банкир Эрлангер писал об этом со слов биржевого дельца, брата Наполеона III, герцога Морни, банкиру венскому Сину. Затруднение заключалось только в том, что кто-то и как-то должен был сделать первый шаг к мирным переговорам.

Банкирам, конечно, хотелось, чтобы первый шаг был сделан русской дипломатией; русская дипломатия давала понять им, что она, «будучи нема, не останется глухою», то есть выслушает посредников.

Тем временем Наполеон III давал понять руководителям английской политики, что он не прочь был бы сделать целью дальнейшей войны с Россией восстановление Польши как государства; руководители же английской политики дали ему понять, что на это они ни в коем случае не пойдут.

Александр же со своей стороны питал надежды на то, что во Франции возникнет революция и стащит с трона бонапартида. Ему казалось, что причины для этого достаточны: плохой урожай, бедственное положение вследствие этого французских крестьян, недовольство рабочих тяготами войны...

В этом смысле он писал Горчакову в Крым из Николаева еще в

середине октября:

«Прежние революции всегда этим начинались, и там, может быть, до общего переворота недалеко. В этом я вижу самый правдоподобный исход теперешней войны, ибо искреннего желания мира с условиями, совместными с нашими видами и достоинством России, я ни от Наполеона, ни от Англии не ожидаю, а покуда я буду жив, верно, других не приму».

Когда ему передали, что Наполеон, может быть, будет не прочь заключить с ним сепаратный мир, Александр забыл на время даже о своих надеждах на революцию во Франции и свержение бонапартида.

«Если бы действительно мы могли этого достигнуть, — писал он тому же Горчакову, — то, разумеется, я предпочту прямые с ним переговоры всякому стороннему вмешательству».

Через посредство тех же банкиров, барона Эрлангера и барона Сина, Морни совсем было договорился с русским дипломатом Горчаковым съехаться в Дрездене для более короткого обмена мыслями о возможности мира, причем Морни давал понять, что, может быть, удастся несколько смягчить первоначальные условия мира, заменить пункт об ограничении сил России на Черном море пунктом о «нейтрализации Черного моря», что было бы, во-первых, не обидно для национального самолюбия, а во-вторых, в достаточной степени иллюзорно.

«Не в первый раз заносятся в договоры подобные условия, — писал Морни, — но сколько же времени соблюдаются они? Пройдет несколько лет, и интересы переместятся, ненависть потухнет, установятся дружеские отношения, благодеяния мира излечат раны войны, и... такого рода договоры забудутся и не станут больше применяться. Часто случается даже, что та самая нация, которая настояла на ограничении сил, первая же требует отмены этого».

Вообще Морни всячески старался выказать себя большим другом России, и нельзя сказать, чтобы старания его пропали даром для него самого: после заключения мира он был назначен посланником в Петербург и здесь женился на одной из великосветских невест, за которой дали огромное приданое.

Свидание же Морни с Горчаковым в Дрездене так и не состоялось:

канцлер Нессельроде не мыслил себя вне интересов австрийской короны; он внушил Александру, что сепаратные переговоры с Францией могут иметь самые печальные для России последствия, и, конечно, тут же выступила на сцену Австрия, потом Лондон, и в результате этого зять Нессельроде и Эстергази появились в Петербурге с точными, выверенными и согласованными пунктами мирного договора в руках.

Всякие закулисные махинации были объявлены недостойными чести и достоинства русской дипломатии; к ней, как к должнику, который не прочь обсудить виды и сроки уплаты, съехались представители всех кредиторов как воевавших, так и имевших только намерение воевать, и обсуждение вопроса о возможностях мира началось.

IV

Перед лицом поднявшихся на Россию западноевропейских правительств император Александр оставался в том же одиночестве, какое унаследовал от отца. Единственный, кого он хотел склонить на свою сторону, родной дядя его по матери — король прусский — ответил ему отказом.

Он не поспешил только на советы принять условия мира, какие ему предлагают, «пойти елико возможно далеко в уступках, зрело взвесив последствия, которые могут проистечь для истинных интересов России и самой Пруссии, а также всей Европы от бесконечного продолжения этой ужасной войны: стоит только разнuzдаться разрушительным страстям, и кто может исчислить последствия этого повсеместного наводнения?»

Однако с советами начать мирные переговоры выступил, наконец, и сам противник Александра Наполеон III, поручив барону Зеебаху заявить в Петербурге, что «существуют только два средства привести великую войну к окончанию: или полным истощением одной из воюющих сторон, или равновесием между ними, без посягательства на их честь. В данном случае именно и предлагается это второе средство. Если в Балтийском море союзные державы не совершили ничего существенного, то в Крыму они все-таки одержали успех, хотя и стоивший им очень дорого. Соппротивление, оказанное русскими

войсками, покрыло их славой; дельные стратегические распоряжения Горчакова обеспечили безопасность Крыма на всю зиму. Таково прошлое...»

Будущее же представлялось Наполеону так: «Союзники не перенесут войну в глубь России, потому что опыт доказал нецелесообразность этого средства; но они воспользуются всеми усовершенствованиями, введенными в морское дело, чтобы атаковать Россию на Балтийском море и разрушить Кронштадт. Блокада черноморских портов вынудит нас содержать на юге значительные военные силы. Но к чему же все это поведет? К пролитию крови и к бесполезным издержкам, а выгоду извлечет одна Австрия...»

Император французов, давая совет принять условия мира, заканчивал «искренним намерением сблизиться с Россией», а в доказательство этого приводил то, что ему уже пришлось бороться за Россию в Лондоне, который противится миру и выставил было чудовищные условия требовать непременно срыть Николаев с его верфью. «Мне немало труда стоило, — говорил Наполеон, — разъяснить английскому правительству, что нельзя требовать того, чем не овладел с боя».

Чтобы обсудить всестороннее создавшееся положение, Александр созвал двадцатого декабря своих высших государственных сановников в Зимний дворец на совещание, сам прочитал им условия мира, предложенные Австрией, и предложил высказаться откровенно.

По роковому стечению обстоятельств те же самые оставшиеся Александру в наследство сановники, которые легкомысленно способствовали Николаю I вызвать на борьбу Европу, теперь должны были сознаваться в том, что не взвесили своих сил и не подсчитали сил противника.

Министр государственных имуществ граф Киселев говорил, что «четыре державы-союзницы имеют сто восемь миллионов населения и в общем три миллиарда годового дохода, в то время как население России не превышает шестидесяти пяти миллионов, а доходы едва достигают одного миллиарда... В таком положении, — продолжал он, — без помощи извне, без всякого вероятия на союз с кем-либо, нуждаясь в средствах для продолжения войны и имея в виду, что и

нейтральные государства склоняются на сторону наших противников, было бы по меньшей мере неблагоприятно рисковать новой кампанией, которая только усилит требования противников и сделает мир еще более трудным... Недостаток оружия и запасов усиливается; затруднения в этом деле растут ежедневно, как свидетельствует военный министр... Все эти причины, вместе взятые, приводят к убеждению, что надо действовать с крайней осторожностью и, не отвергая австрийских предложений, постараться изменить те условия, которые не могут быть нами приняты без ущерба нашему достоинству, а именно: уменьшение нашей территории и некоторые из последствий нейтрализации Черного моря».

Киселева поддержали два генерал-адъютанта: князь Воронцов и граф Орлов. Из них первый был настроен очень мрачно. По его словам, новая кампания может только привести к потере и Крыма, и Кавказа, и Финляндии, и Польши, поэтому гораздо умнее будет заключить мир, пока еще не обнаружилось полное истощение русских сил, пока еще возможно сопротивление.

Мнение князя Долгорукова, военного министра, на которого ссылался Киселев, сводилось к тому, что Россия не в состоянии перевооружиться во время войны, как это удалось сделать державам-союзницам Англии и Франции благодаря их высокой технике, что Шостенский пороховой завод с его конным приводом не в состоянии конкурировать с заграничными заводами, где работают паровые двигатели; что огромные расстояния и плохие условия транспорта воздвигают непреодолимые препятствия по снабжению армии; что нет не только достаточного количества селитры для увеличенного выпуска пороха, но нет даже и нужного числа портных, чтобы сшить мундирную одежду; что нет возможностей для фабрикации ружей точного боя; что даже сапоги, даже полотно — все это поставляется для нужд армии ценой больших усилий, всегда не вовремя и очень плохого качества...

Нессельроде не преминул поставить собрание высших сановников в известность о том, что замышляет сделать Австрия, если предварительные условия мира, присланные ею, будут отвергнуты.

Граф Буоль, австрийский министр иностранных дел, угрожал

«серьезными последствиями», если предварительные мирные условия не будут приняты. Это требовало, конечно, разъяснения, и Нессельроде разъяснял, что последует прежде всего разрыв дипломатических сношений, а затем Австрия вступит в коалицию врагов России. Вслед за нею, по всей вероятности, вся Германия и Скандинавия сделают то же. Между тем на военном совете в Париже решено, что с начала военной кампании французы займут весь Крым, а англичане, сардинцы и турки атакуют все кавказское побережье. Заняв Крым, французы со стороны Дуная ударят на Бессарабию, а так как это уже будет происходить по соседству с Австрией, то Австрия, наконец, двинет свою огромную армию к западным русским границам... Конечно, при таких обстоятельствах не устоит от участия в войне и Пруссия... А блокада русских портов союзным флотом и все те неисчислимые материальные потери, которые с нею связаны? А полная возможность флота союзников обстрелять и занять десантным отрядом любое место на побережье?..

Пискливый голос весьма одряхлевшего старательного ученика Меттерниха не мешал убедительности всех рисуемых им ужасов, которые должны будут разразиться над Россией, если только австрийские условия покажутся неприемлемыми.

Приводилась и ссылка на мнение министра финансов, что нельзя обольщаться прочностью канкриновского рубля, который упал всего только пока на семь процентов. Огромнейшие средства расходовались и должны были расходоваться на содержание армии, доведенной вместе с иррегулярными казачьими войсками до двух с половиной миллионов человек, причем одних только рекрутов было призвано около миллиона и около полмиллиона ратников ополчения.

Между тем не только Крым, но и несколько южных губерний были уже истощены реквизициями; множество рабочего рогатого скота, необходимого для транспорта, было уже частью съедено армией, частью погибло от бескормицы, частью утонуло в невылазной осенне-зимней грязи.

Из всех сановников, призванных царем на совещание, один только статс-секретарь граф Блудов высказался было за продолжение войны, но к концу совещания признал этот взгляд своей ошибкой.

После того, что видел Александр в Николаеве и в Крыму, он сам далеко не смотрел так мрачно на дело обороны России, как Нессельроде, Воронцов, Киселев, Долгоруков, и несколько минут прошло у него в раздумье, когда все мнения были отобраны и единогласно решено было, что воевать дальше не следует.

Наконец, обратясь к канцлеру, он поручил ему объявить австрийскому посланнику графу Эстергази, что привезенные им предварительные условия мира Россией приняты.

Впоследствии император Александр никогда не мог равнодушно вспомнить об этом совещании и о том, что он согласился на мир, позволил запугать себя бессильными по существу угрозами Англии и ультиматумом Австрии, стоявшей на грани финансового краха.

— Я сделал тогда большую подлость, — обыкновенно говорил он, преувеличивая, конечно, значение своего самодержавства.

У

На мирный конгресс, открывшийся в Париже, был послан граф Орлов. Франция выставила своего министра иностранных дел графа Валуевского, Англия — лорда Кларендона, Австрия — графа Буоля, Сардиния — графа Кавура, Турция — великого визиря Аали-пашу.

Казалось бы, конгресс из таких сплошь титулованных представителей должен был протекать благовоспитанно-спокойно, но чуть только открылся он, раздались резкие выражения, появились слишком сильные жесты вплоть до угрожающего стука костяшками пальцев об стол, повышение голосов до крика, запальчивость до хрипоты перехвата глоток: на обсуждение был поставлен вопрос об изменении пограничной линии в Бессарабии.

Вопрос этот, правда, непосредственно касался одной только Австрии, благоразумно не воевавшей, но графа Буоля яростно поддерживал лорд Кларендон, представитель державы, хотя и воевавшей, однако очень неудачно. Чтобы обеспечить свободу плавания по нижнему течению Дуная, Австрия намерена была отхватить у России чуть ли не половину Бессарабии.

Орлов напомнил о том, что в руках России находится не только крепость турецкая Карс, но и весь Карсский пашалык, который может

явиться хорошей мерой за меру: или границы Бессарабии останутся без изменений, а Карсский пашалык будет возвращен Турции, или границы Бессарабии будут передвинуты, но зато все земли, завоеванные русскими войсками в Малой Азии, навсегда останутся за Россией.

Вот тогда-то лорд Кларендон начал кричать, что Англия готова воевать с Россией бесконечно, но не позволит ей урезать что-нибудь из территории Оттоманской империи.

Кричал Кларендон, кричал Буоль, кричал Орлов, начал сверкать глазами и покрикивать великий визирь Али-паша, пришлось председателю конгресса графу Валуевскому со всей поспешностью закрыть заседание, чтобы избежать военных действий за столом конгресса.

Чтобы выйти из очень трудного положения, в какое попал он в самом начале заседаний, Орлову пришлось обратиться за поддержкой непосредственно к Наполеону. Желая во что бы то ни стало добиться хороших отношений с Россией, не разрывая в то же время со своими союзниками, император французов дал понять и Буолю и Кларендону, что слишком больших требований их правительств он поддерживать не будет, так как желает мира. Это вызвало колкие письма к нему Виктории, но заседания конгресса пошли все же после того значительно сдержанней: постепенно возвращались к России на карте, разложенной на столе в зале заседаний, и Болград и Хотин, на которые посягала в пользу Молдавии Австрия, пока не осталась, наконец, узенькая полоска по левому берегу Дуная около гирла, всего в тридцать квадратных километров.

Об этом клочке приказано было Александром Орлову не спорить больше. Севастополь возвращался России, хотя и без права укреплять его; Карс — Турции. О числе военных судов, которые Россия и Турция могли бы держать в Черном море, Орлов договорился непосредственно с Аали-пашой. Наконец, русское правительство отказывалось от протектората над Молдавией, Валахией и Сербией, который не давал России никаких выгод, хотя и стоил много русской крови.

Парижский мирный трактат был подписан в годовщину взятия Парижа союзными войсками в 1814 году, то есть 18/30 марта 1856 года.

Перемирие в Севастополе, между двумя берегами Большого рейда, было объявлено на месяц раньше, 17 февраля. Конвенцию о перемирии подписали главнокомандующие союзных армий — Пелисье и другие, а с русской стороны — новый главнокомандующий, генерал Лидерс, так как Горчаков еще в начале января был переведен в Варшаву.

Граф Орлов, заключивший «не постыдный мир», был назначен по возвращении председателем Государственного совета и комитета министров, то есть стал первым лицом в государстве, а через год получил княжеский титул: это был его «заработок» на славной обороне Севастополя. С другой стороны, генералу Пелисье был дан Наполеоном титул герцога Малаховского (duc de Malakow). Сделанный маршалом французский Ахилл Боске вследствие раны, полученной при взятии Малахова, жил недолго.

Наполеону III необходимо было оказать давление на членов конгресса: он очень хорошо знал, во что уже обошлась ему осада Севастополя, и мог, хотя бы приблизительно, рассчитать, что будет стоить продолжение войны с Россией.

Свыше трехсот тысяч отборнейших французских войск, включая сюда и гвардию, были отправлены в Крым с начала военных там действий, и уже около ста тысяч из них погибли.

И хотя очень легко говорилось, что в весенние и летние месяцы французы, оставленные другими союзными армиями для завоевания Крыма, займут его, частью вытеснив, частью уничтожив русские войска, но Наполеон понимал, конечно, всю трудность и даже рискованность этого предприятия, кроме того, что война уже стоила Франции свыше полутора миллиардов франков и сколько могла бы стоить еще?

Наконец, не устойчива была и дисциплина французских войск, начиная сверху. Наполеон не мог, конечно, забыть, что его план маневренной войны в Крыму был забракован генералами его армии и прежде всего самим главнокомандующим Пелисье. Иных генералов пришлось отозвать; между ними генерал Форе был отозван потому, что солдаты не хотели ему подчиняться, и дело дошло почти до открытого бунта, причем в оправдание себя солдаты обвиняли Форе в

изменнических сношениях с русскими, что оказалось, конечно, явной клеветой: Форе просто был требователен и строг.

Наполеон знал и то, что развал в английской армии был несравненно сильнее, чем во французской, и это сказало бы на второй год войны с удвоенной силой, так как если война с Россией не была популярной среди французов, то еще менее могла она увлечь умы наемных английских солдат. Между тем дисциплина русских войск, боровшихся с лучшими европейскими полками при вопиющем неравенстве технических средств борьбы, его поражала.

Он видел также и бессилие Англии, вздумавшей «продолжать войну до бесконечности», как заявил на конгрессе лорд Кларендон, и в то же время бывшей не в состоянии поднять численность своей армии выше тридцати пяти тысяч человек. А между тем война обошлась уже английскому казначейству в два миллиарда франков, и к каким же результатам привели эти колоссальные затраты?

Даже Австрия, которая не воевала, но умудрилась на одно только развертывание своей армии и оккупацию Молдавии — Валахии израсходовать свыше миллиарда, что она стала бы делать дальше, если бы и в самом деле ввязалась в войну?

В общем союзные армии, не считая турецкой, потеряли одними убитыми и умершими от ран и болезней сто пятьдесят пять тысяч человек, а издержки их стран превзошли пять миллиардов франков.

Потери России убитыми и ранеными дошли до ста тысяч человек; потери от эпидемических болезней были огромны, но относительно меньше, чем у интервентов, а издержки на всю Восточную войну были исчислены в восемьсот миллионов рублей.

Глава третья

I

Мир был подписан, и телеграф известил об этом почти одновременно и русские войска на Северной, на Инкермане, на Мекензиевых горах, и войска интервентов на их позициях.

И вот сразу и безудержно кинулись вчерашние враги одни к другим в гости, благо стояли яркие весенние дни, звенели жаворонки, золотели

всюду звездочки крокусов, тихо голубела бухта и сверкало снова приветливо, снова своими русскими безбрежными просторами море.

На Трактирном каменном мосту через Черную речку, так памятно и русским и французам по 4/16 августа, выдавались пропуска для желающих посетить теперь уже не лагерь противника, а просто «иностранный» лагерь, и с этими пропусками мчались кавалькады русских офицеров в Камыш и в Балаклаву, а французы, англичане, сардинцы — сначала на Мекензиевы горы, а потом в Бахчисарай и дальше, по всему Крыму, овладеть которым так и осталось неисполнимой мечтой их правительств.

И если французы не теряли при этом присущего им военного обличья и путешествовали по Крыму верхом, с проводниками из русских офицеров, говоривших по-французски, и местных татар, то англичане, природные туристы, очень быстро преобразились в туристов и пересели в удобные покойные кебы, за которыми мулы тащили вьюки со всем необходимым в дальних дорогах и прежде всего с палатками для ночевки на свежем воздухе.

Очень быстро тогда все живописнейшее шоссе, идущее вдоль южного берега Крыма и от Алушты до Симферополя, оказалось уставленным этими островерхими палатками, в которых отдыхали сыны Альбиона в самых непринужденных костюмах.

Среди них были и корреспонденты газет, и о красотах Крыма посылались восторженные статьи в Лондон, были и художники, и это позволило англичанам выпустить к концу 1856 года альбом прелестнейших акварелей — видов Ялты, Алушты, Чатырдага, горных речек, лесных ущелий в горах, сцен из жизни крымских татар и прочее.

Британцы путешествовали, не зная русского языка и не имея переводчика, с небольшими словарями, в которых английскими буквами изображены были необходимейшие русские слова. Их почтил одною строчкой в своем известном стихотворении бывший как раз в это время в Крыму поэт граф А. Толстой:

...Но мешают мне немножко

Жизнью жить средь этих стран

Скорпион, сороконожка

Да фигуры англичан.

Особенностью этих путешествий англичан точно так же, впрочем, как и французов, являлось прекрасное заочное знание Крыма. Их карты, как и карты французов, были точны до последних мелочей. На них были нанесены все грунтовые дороги, мельчайшие речонки, все даже тщательно укрытые лесами и горами селения татар. Так, что если кто и готовил всерьез и добросовестно покорение Крыма англо-французами, то это были их топографы, работавшие в Крыму, конечно, задолго до начала войны по указаниям своих штабов. Часто случалось так, что даже местные жители знали окрестности своих аулов гораздо хуже, чем постоянно справлявшиеся со своими картами путешественники в красных мундирах.

Однако видно было, что долговременная совместная осада Севастополя, кончившаяся тем, что, потеряв четверть миллиона людьми (вместе с инвалидами войны) и несколько миллиардов деньгами, они заняли всего только южную часть города, не сблизила союзников. Не было общих лавров, потому что не было общих побед. Насмешки французов вызывали все действия англичан; оскорбительнейшими для самолюбия англичан были успехи французов, их указания, их помощь в сражениях, без которой английская армия еще в первые месяцы войны в Крыму перестала бы существовать.

И теперь союзники не только путешествовали по Крыму отдельно, но если они приглашали к себе в гости русских военных, то французы говорили:

— Приезжайте к нам, в Камыш, там есть на что посмотреть! А Балаклава... на поездку туда совсем незачем тратить вам время!

Англичане же, давая русским свои адреса в Балаклаве, говорили:

— В Камыш ездить не стоит, там и в десятой доле нет столько примечательного, сколько вы встретите у нас, в Балаклаве.

Но русские охотнее ездили в Камыш, чем в Балаклаву, и это объяснялось не одним только тем, что французский язык был им гораздо более знаком, чем английский. Даже и солдаты русские и казаки, обходившиеся для посещения иностранного лагеря без всяких пропусков, поэтому искавшие броду через Черную, вместо того чтобы

идти на мост, и те предпочитали пантомимную беседу с французами такой же беседе с англичанами.

Камыш был гораздо веселее Балаклавы.

Все было крикливо пестро и даже пышно в этом «маленьком Париже», начиная с названия улиц, как «улица Славы», «улица Наполеона», «улица Победы»... Деревянные домишки были украшены огромными вывесками, так как в каждом чем-нибудь торговали или это были парикмахерские, кафе, рестораны... Даже театр был устроен здесь, и нельзя сказать чтобы маленький — на тысячу двести мест с ложами для генералов и с паникадилами вместо люстр.

Места в нем стоили по несколько франков, так что среди зрителей много бывало солдат, а труппа была привезена из Парижа; ставились же исключительно комедии и водевили, причем авторы не узнали бы своих произведений, так они приспособивались актерами к публике.

Бань для солдат зато не было, и сыпняк не переводился. Много штатского народа — купцов, подрядчиков, маркитантов, в сюртуках и черных высоких шляпах — сновало по улицам, и много женщин, что придавало Камышу вполне обжитой вид.

Несколько гостиниц успели устроить здесь предприимчивые люди. Это были двухэтажные деревянные дома с балконами, — внизу неизбежный ресторан, вверху номера.

Верховые на прекрасных лошадях, коляски, першероны, важно влекущие по мостовой грохочущие стопудовые тяжести, вислоухие скромные мулы и совсем игрушечные пони — серенькие в яблочках и гнедые, — запряженные в такие же игрушечные тележки, все это заполняло улицы, причем заметно уже было, что чисто торговые интересы вытесняли военные.

Около домов и домиков красовались палисадники, в которых, нежась на весеннем солнце, стояли горшки с комнатными цветами. Кто-то заботился и о том, чтобы жестянки от консервов и битая посуда складывались в особые большие ящики, стоявшие кое-где около домов, а не швырялись куда попало. Столики в ресторанах и кафе были мраморные, стены задрапированы веселым пестреньким ситцем, потолки обиты миткалем...

Когда Хлапонин, знавший прежнюю Балаклаву, вздумал вместе с

Елизаветой Михайловной проехаться туда теперь, он был удивлен тем обилием нового, в котором совершенно утонул скромный рыбацкий городок около бухты.

Балаклава растянулась теперь на все окрестные холмы, на всю долину. Даже какие-то фабрики увидели они на горе: в открытых больших окнах там виднелись вращавшиеся под приводными ремнями колеса, доносился оттуда монотонный фабричный шум, и суетились около них не солдаты, а рабочие в кепках, грязных, промасленных, запыленных.

По рельсам железной дороги, гудя и дымя, катился паровоз, а невдалеке от этой линии рабочие — не солдаты — долбили кирками глину, прокладывая другой подъездной к пристани путь.

Это удивило Елизавету Михайловну, озадачило даже.

— Как же так, ведь мир заключен, чего же они еще роются тут? — обратилась она к мужу.

Хлапонин тоже был очень неприятно поражен этим, но ответил, оглядевшись кругом:

— Ведь все это, что они здесь понастроили, им увозить надо будет; также и орудия грузить на суда... считают, должно быть, выгодней для себя перевозить тяжести по чугунке, а не резать лошадей, что ж, в две-три недели ведь отсюда не уберутся, успеют еще и уложить рельсы и снять их потом.

— Ты думаешь, что все-таки снимут рельсы? — усомнилась Елизавета Михайловна.

— А ты хотела бы, чтобы они их оставили нам? — улыбнулся он. — Нет, англичане народ практичный, заберут.

Елизавета Михайловна поверила мужу, когда увидела ближе к пристани огромные груды белого известкового камня, из которого строились дома в Севастополе: этот камень грузился теперь на английские транспорты, несмотря на то, что в большей части своей он потерял уже первоначальные формы и был закопчен от взрывов и пожаров.

Буквально целый лес мачт вырос перед изумленными глазами Хлапоновых, когда они подъехали к тому месту, откуда открывалась бухта.

— Ну, кажется, от прежней Балаклавы осталась одна только генуэзская башня, — сказал Хлапонин, — да и то ее украсили шестами и веревками, должно быть для поднятия флагов.

Толчея на улицах этой новой Балаклавы была ничуть не меньшая, чем в Камыше; но если там мало попадалось англичан, то зато здесь очень много было французов и особенно много сардинцев; из английских же солдат останавливали на себе внимание Хлапоновых шотландцы, очень рослые, с голыми коленями и в медвежьих высоких гвардейских шапках наподобие тех, какие носили русские дворцовые гренадеры. Но дворцовые гренадеры были старики, а это все краснощекие, молодые. У иных над головами веяли черные страусовые перья. Уроки первой зимней кампании, когда они терпели во всем страшную нужду и вымирали от болезней до того, что в иных батальонах числилось всего по восемь человек в строю, не прошли даром. Видно было Хлапонину, что вторая зимняя кампания, — правда, кампания уже мирная, — перенесена была англичанами легко, даже обставлена была с присущим им комфортом.

Но это было не главное: Хлапонин проговорил, усмехнувшись одними глазами:

— Однако, господа энглезы, при всем том третьего бастиона у нас вы все-таки так и не взяли! Вот вам!

— Мне хотелось бы посмотреть на третий бастион! — оживленно подхватила это замечание мужа Елизавета Михайловна. — Как ты думаешь, можно будет это? А то уедем отсюда, из Крыма, и так я этого бастиона твоего и не увижу!

Справились, можно ли будет посетить бастионы, — им дали разрешение без задержки, — Корабельная сторона называлась теперь Английскою стороною, Южная — Французскою, и, наскоро закусив в ресторане, Хлапоновины отправились на Английскую сторону.

— Много сена заготовили энглезы! — с завистью артиллериста говорил дорогой Хлапонин, встречая по сторонам огромные стога прессованного сена.

Сено это везли куда-то слоноподобные лошади с мохнатыми ногами, которых обгоняли Хлапоновины. По форме подпрыгивая в седле, встретился им какой-то английский генерал в синем кепи с золотым

околышем. Адъютант его, скакавший за ним, тоже подпрыгивал в такт галопу коня с высоко подрезанным хвостом.

Кони у обоих были загляденье, и Хлапонины переглянулись, поняв друг друга без слов: им стало немножко неловко за своих лохматеньких лошадок, хотя и генерал и его адъютант первыми откланялись им, конечно из уважения к даме.

Часто попадались тяжеловозы, которые тащили оттуда, со стороны Севастополя, то бревно, то железо, то тесаный камень: все это предназначалось к отправке в добрую старую Англию, — впрочем, может быть, и гораздо ближе, например на Мальту.

Хотя Корабельная сторона и называлась теперь Английской, но французы все-таки не уступили англичанам чести нести караул на Малаховом кургане. Караульным помещением была та самая башня, из которой отстреливались несколько часов последние защитники кургана. Возле нее стояли в козлах штуцеры, на штыках висели сумки. Сюда прежде, чем на третий бастион, заехали Хлапонины. Их внимание привлек большой деревянный выкрашенный в черное крест над братской могилой, где похоронены были и французы и русские. На кресте была надпись:

8 Septeber 1855

Unis pour la Victoire

Reunis parla Mort,

Du Solbat c'est la Gloire!

Des Braves c'est Sort!{113}

— Много ли наших здесь погибло? — спросила мужа Хлапонины.

— Здесь, у горжи, говорили мне, много, — ответил Дмитрий Дмитриевич. — Ведь несколько полков один за другим ходили сюда в атаку... но каковы французы! Не могут обойтись без торжественных надписей и непременно стихами...

На башне, точнее на земляной насыпи над нижним этажом бывшей башни, стояла будка, трехцветный французский флаг плескался, так как дул несильный ветер, и прохаживался часовой, оживившийся только при виде их и смотревший на них с любопытством.

Под ногами везде торчали сильно ржавые уже осколки снарядов, ядра, картечь кучками, ружейные пули, зарастающие молодой травкой и

одуванчиками... Блиндажи стояли без крыш, стены их осыпались; вал едва уже был заметен.

От домишек, лепившихся прежде у подножия кургана, теперь остались только кучки мусора, и почти вся Корабельная перестала уж существовать; только трактир «Ростов-на-Дону», по-видимому, был поправлен и снова выполнял свое назначение: видно было, что около него толпились английские и французские солдаты.

— Вот и третий бастион! Посмотрим на него в последний раз...

Елизавета Михайловна заметила, что ее Митя волновался, оглядываясь на своем бывшем бастионе, но сама она, как ни хотелось ей этого, не испытывала волнения.

Картина в общем была такая же, как и на Малаховом, только без кургана, без башни, без черного креста с эпитафией. Почему-то здесь было больше мешков с землею, втоптаных и вросших в землю, но те же на каждом шагу осколки, желтые от ржавчины, ядра, картечные пули, раскрытые блиндажи и воронки.

Хлапонины все хотелось как-нибудь чутьем угадать, в какую именно из этих воронок на левом крыле бастиона его отбросило тогда разрывом большого английского снаряда, но угадать он, конечно, не мог, и только Елизавета Михайловна могла уже теперь представить то положение мужа, из которого выручил его Терентий. Блиндаж, какой был обращен в мертвецкую и куда тащили его, как покойника, солдаты, Хлапонин нашел, и перед ним, как перед могилой, его ожидавшей тогда, стоял он долго теперь.

Долго и молчаливо. Всякие слова по поводу этого — он чувствовал — были бы излишни для Елизаветы Михайловны, потому что тяжелы и не те.

С третьего бастиона через совершенно опустошенную Корабельку и по мосту через бухту они проехали до Михайловского собора, который казался издали неповрежденным и был очень памятен Елизавете Михайловне по свадьбе Вари Зарубиной.

Действительно, все стены его оказались целы, пробит только купол, как был он пробит и раньше, но зато в середине все было снято: ни иконостаса, никаких икон на стенах, ни паникадил... Только все стены внизу покрыты были надписями, а пол всяким сором вплоть до

совершенно истоптанных и брошенных за инвалидностью башмаков зуавов и ключьев красного сукна от фесок ли, от штанов ли...

Все мраморные плиты входных на папёрть ступеней были сняты, но сняты были также и плиты Дворянского собрания, морской библиотеки, Графской пристани... Даже от огромных взорванных зданий фортов остались только жалкие кучки мусора. Если транспорты интервентов когда-то везли сюда сотни тысяч мешков, набитых турецкой землей, то теперь они увозили отсюда всякий строительный материал, ничем не брезгуя, так что теперь уже могли сказать графы Буоли, что Севастополь «сбрит».

Главнокомандующие трех союзных армий, сделавшие визит генералу Лидерсу, говорили, впрочем, совсем другое. И низенький, заурядной внешности, весьма поседевший под влиянием боевых забот, маршал Пелисье, и сухощавый, бритый, с лицом деревенского пастора генерал Кодрингтон, сменивший Симпсона, и наиболее воинственный по виду из всех трех, высокий, атлетически сложенный и с лихими гусарскими усами генерал Ла-Мармора старались превзойти один другого в комплиментах русской армии, поставившей Севастополь в веках как памятник русской славы.

Наиболее красноречивым из трех оказался, конечно, француз Пелисье. Он много говорил о неподражаемой «холодной» храбрости русского солдата, противопоставляя ее «горячей» храбрости французских войск и с деликатностью гостя отдавая предпочтение первой перед второю.

Селенгинский полк, выведенный на смотр в этот день и представившийся действительно блестяще, осыпан был похвалами недавних врагов, причем все главнокомандующие-гости внимательнейше выслушивали главнокомандующего-хозяина, где именно отличались селенгинцы, — в каких боях, при отражении каких атак: их действия оказались очень памятны и Пелисье и Кодрингтону.

А brave селенгинцы, в высоких парадных киверах, в широких белых ранцевых ремнях, перекрещенных на груди, с замершими на ружьях пальцами, стояли безукоризненно в своих шеренгах, чувствуя локти товарищей, пожирая глазами начальство и ни слова не понимая из тех похвал, которые расточали им чужие генералы, гарцующие перед

ними на блестяще вычищенных, красиво изгибающих лебединые шеи, сверкающих новенькой сбруей конях.

Конечно, и Лидерсу пришлось сыпать такие же комплименты полкам французским, английским и сардинским, выведенным на смотр, когда он приезжал с ответным визитом в главные квартиры армий интервентов.

Но вот уже отданы были необходимые визиты, сказаны необходимые взвинченные слова, получены из столиц приказания о порядке эвакуации войск из Крыма, и посадка войск на суда, наконец, началась.

Даже и русских: из Одессы для этой цели пришел пароход «Андия». Много ли можно было погрузить солдат на небольшой пароход? Но важно было сделать начало, важно было тронуть с места громаду войск.

А потом зашагали на Перекоп и дальше в исполинские тысячеверстные концы армейцы, каждый неся на груди на георгиевской ленте серебряную медаль с вычеканенными на ней тремя простыми, но полными огромного исторического смысла и значения словами: «За защиту Севастополя».

«Севастополем», то есть «величественным, знаменитым городом», назван был Потемкиным едва населенный в те времена поселок русский. Едва ли несколько сот человек жило тогда тут корабельных плотников, матросов, необходимых чиновников, екатерининского офицерства... Но имя обязывает, но слишком большой вексель должен быть оплачен, слишком большой аванс, полученный на веру сотней деревянных домишек, должен был быть погашен, — заслужить нужно было славное имя — «знаменитый город», и Севастополь заслужил его честно годом великой борьбы с объединенной Европой.

II

Но не только с западноевропейскими правительствами велась борьба в Севастополе. Не так уж много нужно было ума, чтобы понять даже и в то время, что борьба в этой крайней южной точке России ведется на два фронта: с иноземными врагами и с вековой крепостнической отсталостью.

И Александр II начинал понимать это так же, как и многие другие около него. Крестьяне в серых шинелях, которые с такой «холодной» храбростью в самой убийственной обстановке целый год защищали Севастополь, испугали царя, хотя и неоднократно повторял он в своих приказах по армии: «Я горжусь вами!»

Крестьянские волнения то там, то здесь по губерниям не прекращались и во время войны, как бывали они неоднократно раньше. Но раньше золотая знать, стоящая около трона, относилась к ним презрительно. Говорили: «Эка беда! Побьют исправника, сожгут помещика... А палки на что?..» Теперь, тут же после севастопольской обороны, так не говорили.

Вопрос об освобождении крестьян стал теперь главным и самым острым вопросом. Император Александр опасался уже того, чтобы крестьяне не предупредили правительство, чтобы освобождение их не началось «само собою, снизу». В этом духе он говорил в своей речи, обращенной к московскому дворянству всего через десять дней после подписания мира, призывая крепостников расстаться с крепостным правом.

И он торопил особый секретный комитет по крестьянскому вопросу: «Желаю и требую от вашего комитета общего заключения, как к сему делу приступить, не откладывая дела под разными предлогами в долгий ящик. Буду ожидать с нетерпением, что комитет по этому делу решит. Повторяю еще раз, что положение наше таково, что медлить нельзя».

Он был испуган. Он боялся за свое положение, за целостность оплота своей власти — дворянства. Севастопольская кампания внушила ему настойчивую мысль о реформе сверху, чтобы избежать революции снизу. В этой мысли поддерживал его либеральнейший из министров, граф Киселев, основавший за восемнадцать лет своего министерства много школ для государственных крестьян.

Но, с другой стороны, пришли в ужас матерые крепостники. Их возглавлял вернувшийся из-за границы «миротворец» граф Орлов. Он принялся, как рассказывает об этом в своих «Записках» славянофил Кошелев, «почти на коленях умолять царя не открывать эры революции, которая поведет к резне, к тому, что дворянство лишится

всякого значения и, быть может, самой жизни, а его величество утратит престол». Либерального же Киселева он предложил отправить послом в Париж, так как там нужен человек просвещенный и с широким взглядом на вещи.

Выходило так, что царь, испуганный возможностью широкого крестьянского движения, стремился к тому, чтобы заразить своим испугом дворян и ускорить благодаря их добровольному желанию процесс освобождения, дворяне же стремились испугать его еще сильнее тем, что рисовали ему неисчислимы ужасы при одном только слове «воля», если оно будет пущено в народ.

В связи с этим выработывались проекты объявить чуть ли не всю Россию на осадном положении, чуть только приступят к отмене крепостного права. И, однако, это освобождение началось явочным порядком, самими крестьянами. Одним из первых помещиков, освободивших своих крестьян, был генерал-севастополец Липранди, вышедший вскоре после окончания войны в отставку.

Многие помещики высказывались за то, что чисто экономические причины должны повлечь за собою близкое падение крепостного права, что труд крепостных невыгоден ни для сельского хозяйства, ни для связанной с ним деятельности фабрик и заводов, что необходимо перейти на труд вольнонаемных рабочих, чтобы догнать западные страны, одержавшие в Севастополе верх своей развитой техникой.

Севастопольские неудачи начали гласно ставить в прямую связь с отсутствием железных дорог в России, и капитал не только отечественный, но и заграничный сразу заявил о своем желании послужить делу развития железнодорожной сети. Канкрин пришел бы от этого в неподдельный ужас, но его уже не было в живых.

Оборона Севастополя прогремела над всей Россией как очистительная гроза.

Если в конце войны в приказе по армии генерал Лидерс осмелился объявить все, чем особенно дорожил, чего всеми силами добивался Николай I, бесполезной наружной муштрой, доводящей новобранцев до отвращения, и требовал, чтобы ополченцев и молодых солдат обучали только тому, что требуется войною, то есть обращению с

ружьем, стрельбе в цель, правилам рукопашного боя, то теперь Александр поручает уже молодому генералу Милютину, который приходился племянником графу Киселеву, выработать новый устав полевой службы, явно бракуя таким образом устав, подписанный своим державным отцом.

Либеральность правящих кругов дошла даже до того, что и за сочинения Гоголя вздумал вступить генерал-адмирал, великий князь Константин, ходатайствуя перед старшим братом, чтобы они были изданы все полностью, так как сам Гоголь был человек хороший и в силу этого не мог написать ничего вредного.

Славянофилов тоже решено было признать невредными людьми, а сочинения их впредь оставить за общей цензурой.

Даже число студентов в университетах решено было сдвинуть с николаевских трех сотен, и этот шаг не считался уже вольномысленным.

Но не только на верхах, не только в угнетенной деревне, везде и всюду в России расколыхалась десятилетиями дремавшая мысль. Поколения людей, воспитанных при удушающем николаевском режиме, вдруг стали чувствовать себя реформистами, все заговорили о новшествах, все поняли, что старое сломлено там, на севастопольских бастионах, и держаться его преступно, не только бесполезно и дико.

Это брожение умов выразилось и в том, что ожила печать. Никогда до того даже представить себе никто не мог в России, чтобы начало издаваться вдруг такое множество газет, листов и журналов, какое появилось непосредственно вслед за Крымской войной.

Деятельно начал сотрудничать в некрасовском «Современнике», несмотря на гонения правительства, гениальный Чернышевский, тогда уже автор «Эстетических отношений искусства к действительности», своей магистерской диссертации.

Быстро созрел политически под влиянием исторических событий другой великий публицист шестидесятых годов — Добролюбов.

Чернышевский и Добролюбов несли в общество идеи крестьянской революции, готовя своей деятельностью начало новой эры в истории России.

Знаменитые в русской жизни девятнадцатого века шестидесятые годы глядели в зияющую брешь, пробитую одиннадцатимесячной севастопольской канонадой.

III

Матрос Кошка по окончании войны получил трехгодичный отпуск и уехал на родину, в Подольскую губернию, в село Замятинце.

Пластун-волонтер Василий Чумаченко, он же Терентий Чернобровкин, ушел с другими пластунами на Кубань.

Хлапонины убедили его, что показываться ему на родине, хотя и в казачьей черкеске и с двумя крестами, все-таки опасно; Лукерью же с детьми обещали непременно выкупить у Реусовых через подставное лицо, что они и сделали вскоре, отправив ее потом на Кубань.

Петрашевец Ипполит Дебу был наконец-то в конце войны произведен в вожделенный чин прапорщика. Конечно, он тут же вышел в отставку и уехал в Одессу, где, между прочим, жили в это время Зарубины, так как туда переведен был поручик Бородатов, их зять. Секретарем в одесское «Общество пароходства и торговли» устроился Дебу, и уже через год было возвращено ему дворянство. Потом на ту же должность и в то же «Общество» перешел он в Петербург, где и оставался до смерти. Он не опубликовал никаких воспоминаний своих, как это сделал, например, другой петрашевец — Ахшарумов, но деятельно собирал в свою библиотеку сочинения социалистов-утопистов.

Бывший командир парохода «Владимир» Григорий Иванович Бутаков вскоре по окончании войны произведен был, в тридцатилетнем возрасте, в контр-адмиралы и назначен на высший административный пост в Николаеве.

Но он был не только блестящий командир, он был еще и блестяще образованным человеком и, вскоре переведенный в Балтийский флот, занялся изучением строительства паровых броненосных судов.

Парусный флот погиб в Севастополе, вместе с ним погиб и крупнейший поэт паруса — Нахимов, как погибли и Корнилов, Истомин, Юрковский, Будищев и другие яркие представители старого поколения моряков, начинавшие перестраиваться на новый лад.

Война с англо-французами показала, что парусному флоту пробил

прощальный час, что он утонул гораздо раньше, чем был затоплен руками своих же матросов.

Винтовой железный корабль и стальная броня на нем, и новые орудия, и много других новшеств, введенных в передовых иностранных флотах, сбросив в могилу времени старые линейные корабли и фрегаты, бриги и корветы, властно потребовали и в России не только новых судов, но и новых экипажей к ним.

Нужен был человек, который стал бы во главе не только воссоздания, но и преобразования русского флота. Таким именно человеком и сделался Бутаков.

От этого еще довольно молодого годами, но уже с проседью в пышных бакенбардах, высокого, широкоплечего, бравого на вид, громкоголосого адмирала пошла новая школа русских моряков — «бутаковцев».

Девиз Бутакова был прост: «Готовься в бой!..» Прост и вполне понятен и, однако же, нов, как просты и понятны, но в то же время новы в России были часто Бутаковым повторяемые слова: «Мы должны всегда, постоянно, безотлагательно готовиться к бою, к тому получасу, для которого мы существуем и в который придется нам показать нашему отечеству, что оно содержит не бесполезную и дорогостоящую игрушку, а свой оплот».

Ревностным помощником Бутакова в его работе был Стеценко.

Не слишком долго пробыл в плену у французов Витя Зарубин, успевший до отправки в Константинополь вместе с другими пленными русскими на корабле «Шарлемань» написать два письма своим родным, адресуя их на Главный штаб и надеясь, что они дойдут по назначению и успокоят мать, отца, сестер. Письма эти дошли, но, пока дошли, беспокойства и отчаяния было много, конечно. Сам же Витя скоро свыкся со своим положением, тем более что плаванье было продолжительным, судно прекрасным, обращение французов не могло возбудить ни малейших жалоб: Витя, как и другие обер-офицеры, помещался в офицерских каютах, обедал в кают-компани, а так как он неплохо говорил по-французски, то иногда забывал даже, что он в плену, а не совершает учебное плавание в иностранных водах.

Отходя от берегов Крыма 2/14 сентября, «Шарлемань» 6/18 бросил

якорь в Босфоре и пять дней простоял в Константинополе, так что Витя вполне познакомился со столицей Турции и даже видел султана, принимавшего парад около Айя-Софии: пленные русские офицеры ходили всюду в сопровождении офицеров французских.

Сказочная красота Босфора и Стамбула с его тысячью минаретов очень поразила Витю. Два дня стояли потом у Мальты, и тоже дана была полная возможность осмотреть бывший центр ордена Мальтийских рыцарей — город Валет — и убедиться в том, что англичане здесь, на своей Мальте, так же холодно относятся к своим союзникам французам, как и под Севастополем.

Потом несколько дней еще шли до Тулона, где пленных русских солдат и матросов оставили под наблюдением на все время плена, а с офицеров взяли честное слово и подписку, что бежать из Франции они не намерены и будут дожидаться обмена пленных и возвращения на родину обычным порядком. Жить при этом им предоставлялось где угодно, исключая, однако, Парижа, и Витя четыре месяца провел в Гавре.

Настал, наконец, радостный день, когда в связи с объявлением перемирия дали знать и пленным офицерам, что назначен размен, что скоро они будут свободны. Тогда-то им разрешено было приехать в Париж, и Витя с неделю пробыл тут, пока выполнялись всякие формальности.

Но хотя плен и весьма обогатил Витю новыми впечатлениями, как всякое длительное путешествие по чужим краям, на родину тянуло неодолимо.

Адрес своих в Одессе он знал. Проездом через Варшаву он заказал себе полную флотскую форму. Деньги на это он сэкономил из выданных в Париже представителем русского правительства; от французов же в бытность в плену он получал наравне со всеми обер-офицерами по сто франков в месяц.

Так в новенькой форме он появился однажды в квартире своих в Одессе. Олю он нашел очень подросшей; Варя располнела и носила широкий капот, фланелевый, клетчатый; мать полна была прежней хозяйственной энергии, но отец лежал больной и, держа руку Вити в своей горячей костлявой руке, говорил ему столь же заботливо, сколь

и не совсем вразумительно:

— Вот, умру я... так ты смотри... не финти зря... калоши надень, калоши... когда за гробом моим... идти будешь. А то простудишься... простудишься, вот... Теперь зима... погода плохая... Без калош не смей...

Однако подействовал ли на него исцеляюще приезд сына, или независимо от того произошел перелом в его болезни, но он поправился к весне и жил еще долго.

А тридцать лет спустя капитан 1-го ранга Виктор Иванович Зарубин вступил в командование только что построенным тогда в Петербурге броненосным крейсером в восемь с половиною тысяч тонн «Адмирал Нахимов».

1939 г.

Примечания

{1} Аяксы — два легендарных греческих героя, упоминаемые в поэме Гомера «Илиада». Аяксы всегда были друг с другом неразлучны.

{2} Ахиллес — один из главных героев поэмы Гомера «Илиада».

{3} — «Кто этот генерал?» — «Министр, который идет в гору» (фр.).

{4} Валтасар — вавилонский царь, который, по рассказу Библии, увидел во время пира начертанные таинственной рукой непонятные слова на стене, предвещавшие, как разъяснили толкователи, гибель его царства.

{5} Аркадия — сказочная страна счастья и простоты нравов.

{6} Рамоли — человек, старчески расслабленный (фр.).

{7} Аранжуэц — летняя резиденция испанских королей.

{8} Сийес Эммануил Жозеф (1748–1836) — французский государственный деятель и публицист.

{9} Фемистокл - афинский военачальник и политический деятель (525–461 гг. до н. э.), разбил персидский флот у острова Саламина.

{10} Тевтобургский лес — легендарное место, где германцы разбили под руководством Арминия в 9 г. н. э. римские легионы.

{11} Митридат VI (132–63 гг. до н. э.) — царь Понта в Малой Азии,

подчинил себе всю Малую Азию, Колхиду (Кавказ), Херсонес Таврический (Крым) и Боспорское царство.

{12} 2 декабря 1852 г. Луи-Наполеон, до того президент республики, провозгласил себя императором и в несколько дней подавил восстание, вспыхнувшее на улицах Парижа.

{13} »Государь! Пушка вашего величества заговорила...» (фр.).

{14} Во что бы то ни стало (фр.).

{15} Густав III — шведский король (с 1771 по 1792 г.), вел войну с Россией.

{16} Petit Paris — маленький Париж.

{17} Священный союз был заключен в 1815 г., после изгнания Наполеона, между Австрией, Россией и Пруссией с целью противодействия революционному движению в Европе.

{18} Драбант — воин, входивший в отряды, которые охраняли начальствующих лиц.

{19} »Святая София» — храм в Константинополе, построенный в 325 г. и превращенный турками в мечеть.

{20} Al pari — означает, что курс бумажных денег равен обозначенной на них ценности.

{21} Лаж — надбавка, уплачиваемая за ценную бумагу сверх обозначенной на ней ценности.

{22} Марк Аврелий (121–180 гг. н. э.) — римский император (с 161 по 180 г. н. э.). Разделял учение философской школы стоиков, требовавшей пренебрежения к жизненным благам.

{23} Гримм Фридрих-Мельхиор (1723–1807) — литератор, состоявший в переписке с Екатериной II.

{24} Тюильри — дворец в Париже, резиденция французских монархов.

{25} Рекамье Юлия (1777–1849). В ее салоне собирались, особенно во времена Наполеона I, представители французской интеллигенции.

{26} Сталь Анна-Луиза (1766–1817) — французская писательница, объединявшая вокруг себя интеллигенцию, настроенную оппозиционно в отношении Наполеона.

{27} Альдонса — крестьянка, которая в воображении героя романа Сервантеса, Дон Кихота, превратилась в прекрасную даму Дульцинею.

{28} «Великая хартия вольностей» — грамота, данная английским королем Иоанном Безземельным в 1215 г. Эта хартия буржуазными историками считается основанием конституционных прав англичан.

{29} Наваринский бой произошел в 1827 г. между русской, английской и французской эскадрами, с одной стороны, и египетско-турецкой — с другой, у гавани Наварин в Пелопоннесе. Турецкий флот после кровопролитного боя был сожжен.

{30} Елена спартанская — жена спартанского царя Менелая, славившаяся своей красотой. По греческой легенде, похищение ее Парисом, сыном троянского царя Приама, вызвало поход греков на Трою.

{31} То есть на полях военных действий.

{32} Гирей — династия крымских ханов, правивших Крымом с начала XV в. до его присоединения в 1783 г. к России.

{33} «Это ученый в нашей семье...» (фр.)

{34} Это он нашел пятую стихию в Польше — грязь (фр.).

{35} Старческая расслабленность (лат.).

{36} Хорошо смеется тот, кто смеется последний (фр.).

{37} Ах, сестра, сестра! (фр.)

{38} Монгольфьер — аэростат, который поднимается при помощи нагретого воздуха. Назван по имени своих изобретателей, братьев Монгольфье.

{39} Апрош (фр.) — буквально «подступ» — тип траншеи для прикрытия; строился зигзагообразно, по мере приближения к осажденному укреплению противника.

{40} Ложемент (фр.) — окоп для прикрытия орудий и людей.

{41} Enfantsperdus — окаянные ребята; infernaux — дьяволы (фр.).

{42} Кто идет? (фр.)

{43} Русские! (фр.)

{44} Вперед! (фр.)

{45} Чего они от меня хотят? (фр.)

{46} Цицерон Марк Туллий (106–43 гг. до н. э.) — римский государственный деятель, знаменитый оратор и писатель.

{47} Джон Россель (1792–1878) — английский государственный деятель, премьер-министр.

{48} Иеремиадой называют скорбную жалобу; происходит это слово от имени библейского пророка Иеремии.

{49} Руджьеро и Альчина — герои эпической поэмы «Неистовый Роланд», принадлежащей перу известного итальянского поэта XVI в. Ариосто.

{50} Орлеаны — ветвь королевской династии Бурбонов во Франции. Один из Орлеанов — король Луи-Филипп — был свергнут во время революции 1848 г.

{51} Реданом французы и англичане называли третий бастион.

{52} Мария-Антуанетта (1755–1793) — французская королева, жена Людовика XVI, казненная в 1793 г.

{53} Нельсон Гораций (1758–1805) — английский адмирал.

{54} Август Октавиан (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.) — римский император.

{55} Шварцемберг Феликс Людвиг, князь (1800–1852) — австрийский дипломат, глава австрийского правительства.

{56} Мадзини Джузеппе (1805–1872) — итальянский патриот и революционер, основатель тайного общества «Молодая Италия», целью которого было свержение австрийского владычества и утверждение в Италии буржуазно-демократической республики.

{57} Князь Варшавский — один из титулов фельдмаршала И. Ф. Паскевича (1782–1856).

{58} Пересвет и Ослябя — два брата, инока Троице-Сергиевской лавры, которые участвовали в битве русских с татарами в 1380 г. на Куликовом поле, причем Пересвет вступил, по преданию, в единоборство с татарским богатырем. Оба брата пали в битве.

{59} Линней Карл (1707–1778) — известный шведский естествоиспытатель.

{60} В 1849 г. было установлено, что число студентов не должно превышать трехсот человек в каждом университете. Мера эта была связана с целым рядом других реакционных мероприятий правительства Николая I.

Минотавр — по преданию древних греков, чудовище с телом человека и головой быка, которому приносились человеческие жертвы.

{61} Платон (427–347 гг. до н. э.) — древнегреческий философ,

ученик Сократа, создатель системы идеалистической философии.

{62} Эсхил (525–456 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт, считается родоначальником драматической поэзии.

{63} Тацит Публий Корнелий (55–117 гг. н. э.) — римский историк, сурово осуждавший в своих трудах деспотизм и жестокость римских императоров.

{64} Хомяков А.С. (1804–1860) — писатель, один из основателей и крупнейших деятелей славянофильства.

{65} Далай-Лама — высшее духовное лицо у буддистов Тибета.

{66} «Московские ведомости» — газета реакционного направления, издававшаяся в Москве.

{67} Ростовцев Я. И. (1803–1860) — генерал-адъютант Николая I и главный начальник военно-учебных заведений. Впоследствии сыграл большую роль в подготовке так называемого «освобождения» крестьян.

{68} Бирон Эрнст-Иоганн (1690–1772) — выходец из мелкодворянской немецкой семьи, проживавшей в Курляндии, фактический правитель государства при императрице Анне Иоанновне.

{69} Остерман А. И. (1686–1747) — государственный деятель и дипломат, немец по происхождению, поступил на русскую службу при Петре I и удержался на высших постах вплоть до воцарения императрицы Елизаветы Петровны.

{70} Итак, мадам Мишель (фр.).

{71} Лукреция Борджиа (1480–1519) — дочь папы Александра VI Борджиа, известная своей красотой, расточительностью и распутством.

{72} Александр Данилович Меншиков (1670–1729) — сподвижник Петра I и почти полновластный правитель в царствование Екатерины I; при малолетнем императоре Петре II был в 1727 г. сослан в Сибирь, в Березов на р. Оби, где и умер.

{73} Харон — по древнегреческой мифологии перевозчик теней умерших через реку Стикс в подземное царство.

{74} Гарпагон — имя героя-скряги из комедии Мольера «Скупой», которое стало нарицательным.

{75} Абд-аль-Кадер (1808–1883) — вождь арабов в Алжире в их партизанской войне с французами за независимость.

{76} Атлас — горная цепь в северной Африке, проходит по Марокко, Алжиру и Тунису.

{77} Ты видал

Фуражку,

Фуражку?

Ты видал

Фуражку

Отца Бюжо?

{78} Аника-воин , или Оника , — легендарный русский богатырь.

{79} Мазарини Джулио (1602–1661) — кардинал и французский государственный деятель.

{80} «Северная пчела» — газета, выходившая в Петербурге с 1825 по 1864 г. Отличалась «охранительным направлением» и доносами на представителей прогрессивного движения.

{81} Наливайко — предводитель казацко-крестьянского восстания конца XVI в. на Украине и в Белоруссии против шляхетской Польши. Казнен в Варшаве в 1597 г.

{82} Палий Семен — предводитель казацко-крестьянского движения в Правобережной Украине в конце XVII и начале XVIII в. против гнета польских панов; стоял за воссоединение Правобережья с Россией.

{83} Сент-джемский двор — двор английской королевы Виктории, которая жила в Лондонском дворце Сент-Джемс.

{84} Ordre — приказ, contre-ordre — отмена приказа, desordre — беспорядок (фр.).

{85} Вобан Себастиан ле Претр (1663–1707) — французский военный инженер, строитель французских крепостей и руководитель ряда осад в царствование Людовика XIV.

{86} Тюрень Анри (1611–1675) — французский полководец, маршал Франции.

{87} Конде , Луи де Бурбон, принц (1621–1686) — крупный французский полководец.

{88} Нимвегенский мир заключен в 1679 г. между Францией, Испанией и Нидерландами после войны, возникшей вследствие

притязаний Людовика XIV на часть испанских Нидерландов.

{89} Единорогами назывались мелкокалиберные скорострельные гаубицы, делавшие по девять выстрелов в минуту.

{90} «Австрийским Иудой», называл Франца-Иосифа поэт Ф. И. Тютчев в своем стихотворении «Нет — мера есть долготерпению».

{91} Меттерних Клеменс (1773–1859) — австрийский государственный деятель и дипломат. Крайний реакционер, поддерживавший по всей Европе систему абсолютизма. В 1848 г. свергнут революционным движением.

{92} Ванты — веревочные снасти, поддерживающие с боков и сзади мачты на судне.

{93} Мстислав Владимирович Храбрый — князь Тмутараканский, княжил с 1016 по 1036 г.

{94} Эскулап — бог древних греков, которому они приписывали дар излечения больных и возвращения к жизни мертвых.

{95} Тезей — легендарный древнеафинский герой и царь.

{96} Грифон — архитектурное украшение, изображающее фантастическое животное с птичьей головой, туловищем льва и орлиными крыльями.

{97} Мерлон — часть бруствера или крепостного вала между двумя амбразурами.

{98} Спартанцы — граждане древнегреческого государства Спарты, или Лакедемона. В 480 г. до н. э., во время войны греков с персами, триста спартанцев во главе с Леонидом пали, защищая Фермопилы, узкий проход из Фессалии (Северная Греция) в Среднюю Грецию.

{99} Сатиры — полевые и лесные божества древних греков и римлян, с козлиными ногами и плоскими носами.

{100} Авгиевы конюшни — конюшни легендарного царя Авгия, которые Геркулес очистил, проведя через них реку. В переносном смысле — очень загрязненное место.

{101} Булгарин Ф. В. (1789–1859) — литератор, издатель реакционной полуофициозной газеты «Северная пчела».

{102} Улисс, или Одиссей, — герой поэмы Гомера «Одиссея».

{103} Фридрих II — прусский король с 1740 по 1786 год.

{104} Немезида — богиня возмездия у древних греков.

{105} Вольтер (1694–1778) — французский писатель, философ и публицист. Ему принадлежит выражение: «Если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать».

{106} Дебушировать — выводить войско на открытую местность (фр.).

{107} Генерал, нужно атаковать! (фр.)

{108} Я не могу ожидать, я имею приказание князя (фр.).

{109} Скажите главнокомандующему, что драгуны не могут быть употреблены на этой местности; что же касается четвертой дивизии, то она бесполезна, так как ей будет невозможно взять позицию, и она будет разбита так же, как и двенадцатая дивизия (фр.).

{110} В. И. Даль (1801–1872) — писатель, лексиколог и фольклорист, автор знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка».

{111} Квинт Фабий Кунктатор — римский полководец III в. до н. э. Тактика его заключалась в медленном отступлении и в заманивании неприятеля в глубь италийской территории для того, чтобы встретиться с ним в благоприятных для себя условиях. Кунктатор — по-латински: «медлитель».

{112} Конде — применял в войне тактику внезапного нападения и стремительности.

{113} Быть заодно для победы и вновь быть соединенными смертью — вот слава солдата, вот участь храбрых! (фр.)